

УДАР

Анна Зенькова

СКОРПИОНА



КомпасГид
издательский дом

Анна Зенькова

Удар Скорпиона

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66956738

Удар скорпиона: КомпасГид; М.; 2021

ISBN 978-5-00083-765-8

Аннотация

До того, как раздался взрыв, все было просто. Проблемой была разбитая мамина ваза, неразрешимой задачей – какие цветы купить понравившейся девчонке, целью – суметь повторить на футболе знаменитый «удар скорпиона».

Теперь же тринадцатилетнему Ренату не до того. Жизнь в один момент становится совсем другой, да еще и в чужой стране. В этой новой жизни находится место небывалым прежде вещам: от необходимости принять себя нового до семейных тайн и дружбы с волком. В крохотном городке под названием Межа, что означает «граница» на трех языках сразу – русском, белорусском, украинском, – герой узнает о том, как условны надуманные границы. И как важно любить и доверять. Безгранично.

Писательница Анна Зенькова знакома читателям по повестям «Григорий без отчества Бабочкин» и «С горячим приветом от Фёклы», получившей Крапивинскую премию (номинация «Выбор Командора») и Гран-при конкурса «Подросток N». Неизменно вдохновляющие, глубокие и, несмотря на сложные

темы, пронизанные тонким юмором, истории Анны Зеньковой – прежде всего о семье. Данной по праву рождения или выбранной самостоятельно.

Содержание

Часть первая	6
Глава 1	7
Глава 2	22
Глава 3	34
Глава 4	62
Глава 5	72
Конец ознакомительного фрагмента.	89

Анна Зенькова

Удар скорпиона

Детям войны посвящается

© Зенькова А., текст, 2021

© ООО «Издательский дом «КомпасГид», 2021

Часть первая

Град (*рус.*) – вид ливневых осадков в виде частиц льда преимущественно округлой формы (градин).

Град (*белорус.*) – город.

«Град» – советская и российская реактивная система залпового огня (РСЗО). Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров.

Глава 1

Все началось с вазы, которую я разбил. Хрустальная. Какая-то секунда, и она уже на полу. Да еще с таким звуком грохнулась! В общем, я сразу понял – сейчас начнется.

В нашем доме война началась именно тогда – в тот день, когда я разбил мамину вазу. Которая бабушкина.

Это же все, что от нее осталось! Хотя была же еще могила. И фотографии! Но я уже заранее понимал: маме, когда она злится, вообще ничего не докажешь. Особенно то, что я здесь – ни при чем.

Это все из-за близнецов! Они меня с самого утра доставали. Вот так прямо и ныли: «Достань, достань!» Ну я и достал. А там конфет – тьмуца! Понятно, с чего им эта ваза далась. А вот остальное – непонятно. Если ваза – единственное напоминание о бабушке, зачем держать ее на видном месте, да еще и конфеты внутри прятать? У близнецов же на шоколадох – ого-го какой. Они его даже через бетонный забор учуют, не то что через прозрачную дверцу шкафчика. Так что мама эту вазу сама под угрозу поставила. Изначально!

А я просто схватил ее и стал тащить. Она реально здоровая – с широким таким горлом! И вроде бы крепко держал, а тут – бамц – и всё: стал с открытым ртом и смотрю, как эти конфеты по ламинату прыгают. Как бусины. И звук такой, я уже говорил, неприятный. Стекланный – вот какой. Я пони-

мал, что это не из-за конфет. Это у близнецов осколки под тапочками хрустели. Но я смотрел именно на конфеты – как они скачут по полу. Было в этом что-то тревожное.

Потом мама с кухни прибежала. И давай кричать. Я не реагирую, стоял спокойно. А сам чуть ли не молился – хоть бы она не заплакала. Потому что на крики я нормально реагирую. Да вообще никак. Просто мысленно сворачиваю уши в ракушку, и всё – мне эти крики по барабану. А вот если слезы, там сразу чувство вины просыпается. И совесть заодно. Терпеть не могу, когда свербит под ребрами. Сколько живу, столько не понимаю: это вина или все же совесть так по коже шкрябает?

Поэтому я и молился. Думал – что угодно стерплю, только прошу – не шкрябайте меня! И мама услышала, наверное, раз не заплакала. А я сразу подумал – зачем? Зачем я просил?! Пусть бы она заплакала, как любой на ее месте. Я бы точно не сдержался, если бы у меня от нее одна ваза осталась.

Но мама просто закричала. И не так, как обычно, – с чувством, а тоненько, точно комарик. И вот этот проклятый комарик – он был таким маленьким, что запросто проник в мои ракушки и засел где-то внутри. И пищал, пищал. И в какой-то момент я понял, что больше не смогу этого выносить. Сказал: «Не пищи ты так – горло сорвешь!»

На самом-то деле я хотел сказать «извини». Ну или «подумаешь, ваза». Но сказал это. И сразу пошел в комнату, чтобы не слушать, что она там еще для меня припасла, кроме тра-

диционного «в кого ты такой безответственный» и «ничего в этой жизни не ценишь» и вот это – мое любимое – «Ренат, когда ты уже повзрослеешь?».

Если бы я знал! Тогда бы я просто подошел и сказал: «Мам, прости меня, пожалуйста». И, наверное, что-нибудь такое, дурацкое, типа: «Давай я ее склею?» Не сам, конечно. С папиной помощью. И все было бы хорошо. Склеенная ваза вернулась бы в шкаф, а мы бы спокойно сели обедать. Папа сразу бы «смолотил» свой суп и попросил бы добавки. Мама говорит, это потому, что папа воспитывался общежитием и «набрасываться на еду» его заставляет инстинкт выживания. Мол, кто успел, тот и съел. А я вот думаю, что истребительное жевание – это у папы от большой любви к маме. Потому что суп, если честно, особенно с клецками, – это вообще не ее. Размазня какая-то. Но папа каждый раз ест его с таким видом, будто это – пища богов. Он сам так говорит. И даже не краснеет!

А я такого не понимаю. Почему нельзя просто приготовить то, что все любят? Те же голубцы, например. Они у нее потрясно получаются, когда без укропа. А драники так вообще – с ума сойти можно.

Ну, тут я, конечно, не до конца справедлив. Мама их и так часто готовит. У нас же папа белорус, а у белорусов картошка эта чуть ли не в крови. Вот мама и старается – жарит. Кровь ему подогревает.

А мы потом сидим такие – все в сметане – и уписываем эти

драники, как будто дистанцию бежим. Да, я уже взрослый, но с папой такие вещи, как еда наперегонки, – они и в три, и в тринадцать одинаково хороши.

Хотя вот близнецам уже три с половиной – а люди в настоящих удовольствиях до сих пор ничего не понимают. Они бы там за столом сразу стали ныть, что не хотят есть ни суп, ни драники, а хотят мультики. Особенно Сёма. Вообще-то он у нас Семён – в честь какого-то там святого. Но «Сёма» как-то удобнее. А Ерёма, который Еремей, уже просто в рифму, наверное, сложился.

Но вообще они у нас больше разные. Вот Сёма, например, суп не любит. А Ерёма – очень даже. А еще сильнее – скандалить! Потому что, если разобраться, суп ведь можно и потом, после мультиков съесть. А если предварительно еще и проораться как следует, так оно даже вкуснее будет.

Но никакого супа у нас в тот день так и так не было. Потому что мама, повозмущавшись, грохнула по столу кастрюлей или чем-то похожим – я не разобрал из-за стены – и уже спокойно сказала:

– Обед будет нескоро.

А потом включила телевизор.

Это был сигнал для всех нас, что она обиделась. Мама одним словом или фразой – она умеет такое – может высказать все, что у нее накопилось. И хорошо бы нам всем ее не трогать до поры до времени, пока она не остынет. А еще лучше – скрыться с глаз долой и желательно куда подальше. Вот это

все она может сказать одним словом. Или покашливанием! Есть у нее в арсенале такое особое «кха-кха». Его даже близнецы понимают. И сидят тихонько, пока буря не утихнет.

Вот и тогда тоже. Их как ветром сдуло! Я еще заглянул по пути к себе в их комнату – узнать, чем они там занимаются. Смотрю, в шатре сидят, о чем-то шепчутся. А Ерёма меня увидел, пальчик к губам приложил и такой «тс-с». Я же говорю, они мамино настроение на раз-два считывают, как телепаты. Вон даже комара ее почувствовали. И папа, видно, тоже, раз ко мне в комнату пришел. И такой с порога:

– Ты как хочешь, брат, а я планирую бежать из страны.

Потом подмигнул и так, заговорщицки:

– И как можно скорее!

Тут я уже не выдержал и засмеялся. Сказал еще:

– Тогда бежим вместе.

И вздохнул, чтобы показать, что на самом деле мне не так чтобы уж прямо весело. А папа сел рядом на кровать и прижал свое плечо к моему. Мы посидели так буквально пару минут, ну пять от силы, и я вдруг почувствовал, как меня отпустило. Как будто вся тяжесть с моей груди сползла куда-то в живот, потом ниже – в ноги, а потом вообще растворилась. И стало так легко! Словно никаких забот у меня в жизни нет. А разбитой вазы с прыгающими конфетами и по-давно – никогда не было. И паршивого чувства наподобие тревоги – тоже.

У нас с папой всегда так. Мы, как те близнецы-телепаты, –

понимаем друг друга без слов.

Да что там! Мы даже внешне – один в один. Близнецы – те в маму пошли – светлые, кудрявые. А я, как и папа, темный. И такой же высокий. Буду, наверное, когда дорасту до его лет.

Я об этом тоже думал, пока сидел рядом с ним. О том, как будет здорово, когда я вырасту и мы с папой окажемся в полном смысле на равных. Сейчас тоже здорово – взрослеть рядом с таким, как он, но будет еще лучше! Сколько всего интересного! И машины, и рыбалка. По субботам будем строить дом, а по воскресеньям – смотреть футбол. Ну или еще что. Просто хороший отдых в хорошей компании. Может, и близнецы потом подтянутся. Но не факт. У них свои интересы, а у нас с папой – свои. Настоящая мужская дружба.

И тут папа сказал:

– Пойдем до обеда мяч погоняем?

Вообще-то у меня были свои планы, но я о них тут же забыл. Не знаю, то ли мамин комар так на меня подействовал, то ли просто захотелось на воздух, но я тут же кивнул и полез в шкаф за формой.

– Сильно не кутайся, – предупредил меня папа. – Там жара на улице.

А я ещё так с усмешкой:

– Да уж конечно, жара! Прямо-таки июнь на дворе.

Но там и правда было солнце. Середина февраля, а пекло – одуреть как. Пока мы шли к стадиону, я видел на дорожке

снег и больше ничего – солнце просто глаза выедало. Папа смеялся и толкал меня в бок, то слева, то справа, как будто заранее подзадоривал, разжигая во мне спортивный дух. А я жмурился и все думал, как ему рассказать. Про Катьку! Ведь завтра четырнадцатое февраля.

Конечно, все это – бред. Я в такие праздники вообще не верю. Но Катька – что с нее возьмешь? Она же девчонка! Вот я и хотел спросить – что мне с ней делать. Цветы подарить или одного стихотворения достаточно?

Стихотворение это тоже – тот еще бред. И вообще позор на мою голову. Но Катька как-то сболтнула, что любит романтику. А стихи – это разве не романтика? Ну, помимо того, что бред?

Нет, наверное, все же лучше без них. Просто цветы. И конфеты! Катька их обожает.

– Па-ап? – я решил спросить у него про тот букет, который он маме на первое свидание принес. Понятно, что я уже сто раз слышал эту историю, как мама любила хризантемы, а папа перепутал их с другими цветами (забыл название), а у мамы на них была жуткая аллергия, но она боялась обидеть папу, поэтому по пути в кино все нюхала и нюхала, пока не начала задыхаться, и вместо кино они в итоге оказались в больнице. А потом почти сразу поженились.

Понятно, что с моей стороны это был чисто маневр, чтобы папа меня сразу не раскусил. Ну мало ли с чего я вспомнил. Просто хорошая история, я часто прошу ее рассказать.

Только название цветов все время забываю. Пионы, что ли? Или астры?

Вот это я и хотел узнать – что за цветы? Может, мы с Катей продолжим традицию.

Но спросить не успел, потому что папа вдруг хитро сощурился и сказал:

– Ну что? Удар скорпиона?¹ Или слабо?

– Это мне-то слабо? – подхватил я.

Конечно, до Игиты² мне еще как до луны. Но с папой эти отговорки не работают. Поэтому я сделал такой отчаянный вид – типа готов совершить невозможное! Рене ведь тоже называли сумасшедшим.

Он выхватил у меня мяч и помчался с ним вперед. И еще козырек кепки набок свернул. Как дуралей какой-то!

А я тоже побежал, только в противоположную сторону – к воротам, чтобы занять позицию. На стадионе никого не было – только я и папа. И ветер, такой сильный, что шапка еле держалась на голове. Ветер гнал на меня солнце, а я бежал, подставив ему лицо и шею. Разогнался по полной, чтобы прямо до свиста в ушах. И еще улюлюкал на бегу – наши с папой позывные.

А потом обернулся и увидел, что папа бежит за мной. Он

¹ *Удар скорпиона* – в футболе отражение мяча игроком пятками назад и вверх в прыжке. Свое название получил за схожесть с атакой скорпиона, поражающего свою жертву.

² *Хосé Рене Игита Сапáта* – колумбийский футболист, вратарь. Игрок национальной сборной (1987–1999), изобретатель удара скорпиона.

размахивал руками и что-то кричал, но из-за ветра я ничего не мог разобрать. Я просто чувствовал странное давление где-то внутри. Оно росло и росло, и чем громче папа кричал, тем сильнее там давило. И как будто толкало меня вперед.

Я двинул папе навстречу. Не побежал, а пошел, но и то с трудом. Ужасно медленно. Словно уже понимал – что-то не так. Папа кричал, и ветер от его крика – он вроде как тоже изменился. До этого был мягкий и какой-то размазанный, как масло по хлебу. А тут стал плотным, словно собрался в комок.

И вдруг ударил. Звук был оглушительным. Как будто стая птиц целиком врезалась в воздух, разогнав его крыльями. Разрезав небо, как куском стекла. Вот таким был тот звук – рассекающим. Я поднял голову и в ту же секунду понял, что это не ветер. Там и правда были птицы – большая стая, вытянутая в черную тень. Они пронеслись у меня над головой, на секунду заслонив солнце. Заслонив весь мир, и стадион, и папу. Я не знаю, может, на мгновение просто стало темно. Или я зажмурился от страха? Но именно тогда, в темноте, я вдруг отчетливо услышал папин голос – резкий и испуганный. То, как он кричит: «Ложись!»

А потом вдруг толчок и вспышка – яркая-яркая, намного ярче того недавнего солнца, а следом боль – обжигающая, как будто на меня вылили ведро кипятка. Я успел увидеть папино лицо, прежде чем меня подбросило. Мне показалось или нет? Я видел, как он улыбается! Невозможно, да. Ведь

его уже не было. Но пока меня кружило и несло куда-то в темноту, я видел его лицо. И оно точно улыбалось!

А потом я упал – глубоко-глубоко. Провалился куда-то. Под землю, что ли? Но когда открыл глаза, почему-то снова увидел небо – черное и дымящееся. Оно трескалось и рассыпалось кусками у меня над головой. Точь-в-точь как бабушкина ваза. И огненные шарики, искры или ошметки облаков ударялись об эту обожженную поверхность и скатывались на землю с невыносимым мерзким звуком – то ли стоном, то ли скрипом. Я даже не сразу понял, что сам его издавал. Потом уже, когда в больнице лежал... Смотрел, как мама говорит. Как медленно шевелятся ее губы и вздрагивают ресницы. Такие длинные, оказывается. На пол-лица!

Я хотел встать. Потянулся, чтобы сказать ей об этом, – вдруг она не знает. Но мама надавила мне руками на плечи и ласково прошептала:

– Лежи, сынок. Отдыхай.

Я этого не слышал, просто по губам прочитал. Я тогда вообще ничего не слышал. У меня в уши как будто вата набилась. И еще так противно звенело – зы-ы-ы, зы-ы-ы. Я покачал головой, потряс из стороны в сторону, чтобы достать эту вату. Хотел попросить маму, чтобы помогла. Но не смог – слова меня тоже не слушались.

Я начал стучать себе по ушам. Показывать ей, что там вата. Ее надо достать! Но мама не понимала. Она хватала меня за руки и беззвучно плакала. Наверное, все же со звуком, но

из-за ваты я не слышал.

И вот этот момент – он взбесил меня жутко. Что я не слышу, как плачет мама. Обычно я нарочно не слушаю, а тут наоборот – хотел до ужаса. Не знаю почему. Наверное, чтобы услышать хоть что-то. Хотя бы один живой звук. Чтобы просто почувствовать. Все равно что. Да что угодно – грусть или радость, оттого что я, скажем, вижу маму. Даже если боль – пусть! Главное, понять, что я уже проснулся, а тот стадион, и птицы, и папа – мне все это приснилось. Это был просто сон.

Я так хотел это почувствовать, что начал дрожать – от усилия или от ярости? Это ведь от нее у меня слезы выступили? А может, просто из-за слабости. Но я точно не плакал! С чего? Я просто катался по подушке, размахивая руками, чтоб поскорее стянуть с себя этот сон, как тяжелое одеяло. И злился, что не получается.

А потом вдруг услышал тот самый звук. Я его сразу узнал. То ли скрип, то ли стон – с нашего стадиона. Теперь он был у меня в животе и еще немного под ребрами. Сначала тихий, потом все громче и громче. Он нарастал, перебивая дыхание, выше и выше, пока не заслонил все вокруг. И даже маму вместе с ее ресницами.

Я стал кашлять и харкать, чтобы выплюнуть его. Достать, чтобы не мешал. Но он не доставался. Такая здоровенная горошина. Или камень? Я двинуться не мог – таким он был тяжелым. Я не мог дышать.

Потом кое-как вдохнул из последних сил. А получилось,

что сильно. Воздух хлынул мне в горло, и я тут же проглотил его с жадностью. И протолкнул им ЭТО – обратно вниз.

Бумц – я почувствовал, как оно рухнуло мне в желудок. И почти сразу отключился.

Наверное, тогда мне и приснился тот сон. Про Мариничиху. Не знаю, почему так. Все остальное я как будто забыл, а то, что не смог, помнил размыто. Операцию и как меня везли куда-то по коридору. Но это – все. А вот Мариничиху я хорошо запомнил.

Когда я был маленьким, у нас во дворе жила одна бабка. Марина Львовна, кажется. Но мы все, и дети и взрослые, звали ее вот так – Мариничиха. И боялись просто до жути. Не знаю как взрослые, но дети точно. Она же страшная была – не передать просто. Сморщенная вся, высохшая. И глаза такие... ну, как будто прозрачные. Словно ей в глазницы туманом надуло. Я знал, что она слепая, мне родители объяснили, но все равно думал, что наша Мариничиха – ведьма. Именно из-за глаз.

И тут снится мне такое. Как будто мы в нашем дворе – я и она. И больше никого. А Мариничиха ходит вокруг меня и так из-под бровей посматривает, ну, хитро. И, посмеиваясь, говорит:

– А давай-ка мы с тобой, дружок, в одну игру сыграем.

А я так вежливо:

– Ну давайте.

А сам только и думаю, как бы поскорее слинять. Но Ма-

риничиха, точно назло, глаз с меня не спускает – этих своих чудовищных. И такая:

– погоди-погоди, сейчас я тебе правила объясню.

И вдруг достает откуда-то канат. Здоровый, плетеный. У нас в школе в спортзале похожий висел. Мы по нему нормативы сдавали. А я смотрю и думаю: «Откуда она его вытащила? Из кармана, что ли?» И сам себе не верю, получается. Мариничиха – она же тонкая, сухая вся. Ей такой канат даже держать тяжело, не то что в кармане носить. А она вдруг раз – и сует мне его чуть ли не в лицо. Такой еще, не размотанный. Говорит:

– Бери и тяни.

А я с сомнением:

– Что? Да зачем мне это?

А Мариничиха так настойчиво, мол, давай-давай, не куксись, это игра такая. «Бери и тяни» называется.

Ну я и взял. Размотал, дал Мариничихе краешек. И вдруг как дернул! Без предупреждения. Просто разозлился, что она мне этим грязным канатом чуть щеку не расцарапала. Потом мне, конечно, стыдно стало – что я с ней так. Она же старенькая! Но чувствую – что-то странное. А конкретнее – ничего. Она даже с места не сдвинулась! Как стояла, так и стоит. И вдруг смотрю, а эта мымра смеется. Точно как ведьма какая-то. Хи-хи-хи, хи-хи-хи. Мерзкий такой смешок.

Я тогда еще раз дернул. Уже сильнее. Потом еще. Конкретными такими рывками. А Мариничихе хоть бы хны. Она

в свой край каната вцепилась и стоит как истукан. Сначала просто держала, не натягивая. Я это чувствовал. А потом вдруг как пошла – хватать, хватать. Я оглянуться не успел, как она уже мою половину себе перетянула. Вместе со мной. И смех этот мерзкий – до мурашек просто.

Я давай орать – пусти-пусти! А она еще сильнее тянет. Канат – на себя, а сама – ко мне. Шею вытянула, как жираф, и тянется, тянется. И ржет уже в голос. Губами шамкает. Я как глянул, а у нее там во рту все черное. Зубов нет, и десны такие – сгнившие. От старости или еще от чего. И вонь – невыносимая просто. Как будто она сто лет одной болотной тиной завтракала.

А я от ужаса просто обессилел весь. Ног под собой не чувствовал. Волочился за этим канатом – прямо ей в рот. Понимал, что вот сейчас, еще секунда, и она меня проглотит.

Я даже заплакал, наверное, или вообще зарыдал. Вот так: «Не надо, не надо, пожалуйста!»

А потом резко дернулся и открыл глаза. Увидел маму, врачей, кровати какие-то и сразу понял, что я – в безопасности. И никакой Мариничихи здесь нет. Она же умерла пару лет назад.

Но легче мне не стало. Это чувство – какой-то ужасной неотвратимости – оно висело в воздухе. Прямо у меня над головой. Я не удержался и, приподнявшись, посмотрел на потолок, хотя голова у меня была такая тяжелая, что от подушки не оторвать. Я просто хотел убедиться, что Марини-

чиха действительно там – висит, как летучая мышь, и пожирает меня своими туманными глазами. Тогда бы я по крайней мере знал, что она есть. И, может быть, даже придумал, как с ней бороться.

Но ее не было. Просто лампочка, просто потолок. Я беспокойно ворочался и просил маму дать воды. У меня был дикий жар и все внутренности, кажется, горели. Потом мама куда-то ушла, а я все крутился, и искал ее глазами, и жмурился, боясь наткнуться на знакомое высушенное лицо. Я ее не видел, но знал – она где-то здесь, просто прячется. Она пришла за мной, за всеми нами, и теперь никуда не уйдет. Как та война, рядом с которой мы жили. Ее мы тоже не видели, а она была совсем близко – гремела и взрывалась где-то. Так далеко, что, казалось, в другом мире. Мы знали, что она есть, но не боялись. Жили себе и жили такие беспечные. А она, гадина, тихонько подкралась и набросилась. Ударила. Или укусила? Отравила! Я не знаю, как правильно. Я не мог объяснить.

Я просто понимал, сквозь бред или еще как-то, не знаю, что тот ужас, который нас коснулся, – он теперь навсегда.

Глава 2

Те первые дни в больнице перемешались и склеились в один. И даже не день, а какие-то фрагменты. Просто обрывки кадров из мало запомнившегося кино.

Белый потолок с резкой лампочкой. Справа и слева кровати, на которых кто-то шевелится. Нет, справа шевелится, а слева лежит неподвижно, но стонет. Громко так, умоляюще. Хорошо, я этого поначалу не слышал – из-за той ваты почти все время спал. А когда слух вернулся, мне уже было все равно.

Помню день, когда все случилось. Прошла неделя или две, а может, даже месяц. Сколько я там уже валялся? И вот однажды утром я открыл глаза и четко понял, кто я, где я и что я здесь делаю. Это было странно, потому что до этого у меня все в голове путалось. А тут вдруг – хоп – и сразу такая ясность.

Я приподнялся в постели и начал крутить головой. Хоть уже и соображал, но до меня постепенно доходило: «Я – Ренат. Фамилия – Кареев. Отчество – Александрович». И тут в палату зашла медсестра. И говорит:

– Ну что, Ренат? Выспался сегодня?

А я такой на автомате:

– Да.

А потом как удивился! Думаю: «Ничего себе, я что – ее

слышу?»

Там с ней еще какие-то врачи были, но их я даже не видел толком. Я на нее смотрел как на чудо природы какое-то.

А медсестра эта, Ольга какая-то там, снова говорит:

– Мы сейчас тебя посмотрим, а ты полежи, ладно? Помечтай!

Я кивнул и лег обратно на подушку. И лежу без всякой реакции. Ну а что мне? Пусть смотрят, если им так интересно.

Я, наверное, просто был в шоке от того, что снова начал слышать. А остальное меня мало волновало.

Ну и вот, они встали вокруг меня кольцом и смотрят. С серьезными такими лицами. А самый высокий, который в очках, еще и покашливая. Я от этого «кхе-кхе» даже немного заинтересовался – что там? Заворочался. А Ольга тут как тут и сразу подголовник опустила, чтобы я в одной плоскости лежал. Объяснила, что им так лучше видно. И вот это меня уже конкретно напрягло. Что «им». И голос ее – чуть ли не виноватый. Я тогда сразу понял – это не им надо, а мне – вот такая плоскость. Чтобы я не смотрел на то, на что они смотрят.

Еще подумал: «Наверное, обожгло сильно». Я же приблизительно понимал, что и как и почему я здесь. И так занервничал – не передать. У меня даже нога зачесалась от волнения. Не вся, а тот мой шрам, который я в семь лет заработал. Глупо получилось. Хотел на велике покататься и нечаянно сунул ногу в цепь. Покатался! Потом ходил все лето, как ду-

рак, в гипсе.

А теперь этот шрам чуть что – сразу чешется. От волнения или от холода, бывает.

Короче, пока я думал, как бы поприличнее его почесать, высокий склонился надо мной – низко-низко. Чуть ли не очками мне в ногу уперся – вот именно в ту, зудящую. И опять: «Кхм-кхм». А потом так одобрительно: «Красивый рубец». Ну, про шрам этот. А у меня опять нога как зачесется – теперь уже от облегчения. Я себя еще и успокоить успел: «Ну, раз красивый, значит, хорошо. Наверное, там даже ожога нет».

А доктора эти постояли, покивали и пошли дальше. Только очкастый ненадолго задержался, похлопал меня по плечу и сказал – хрипло так: «Выздоровливайте, молодой человек. Вам еще жить да жить!»

Я сразу понял, о чем он. Не знаю, может, из-за интонации, но мне тут же стало ясно, что «жить да жить» – это он про стадион. И про папу.

Я кивнул, думая, что бы ему такого сказать, но очкастый уже пошел. А я лежал и смотрел ему в спину, пока Ольга укрывала меня одеялом чуть ли не до самого носа. Я не мог дожидаться, когда медсестра уйдет, чтобы наконец почесать эту проклятую ногу. Она зудела просто невыносимо.

А Ольга, как назло, не уходила. Крутилась возле моей кровати, складки на одеяле расправляла. Потом еще полчаса ставила капельницу и только после этого ушла. А, нет, сна-

чала спросила, буду ли я кушать или дождусь маму. Я сказал, что дождусь, чтобы только от нее избавиться. И вот тогда она ушла. Но напоследок сказала:

– Не вздумай вставать! Капельницу собьешь!

Я кивнул и тут же полез под одеяло, чтобы почесать ногу. Тело было ватное, вообще не слушалось, но я кое-как вытянул правую руку и, не глядя, стал искать этот шрам, чтобы впиться в него ногтями. Я хотел разодрать его до крови – так он чесался! Пальцы скользили по ноге – ниже-ниже, я уже весь скрючился, как буква зю, но шрама нигде не было. Главное, я ведь чувствовал пальцами – он где-то рядом, чешется и жжется, но самого шрама не находил. Он же большой такой, на всю голень. А тут – просто кожа. Без ничего! Мягкая и вся какая-то сморщенная, точно простыня.

Помню, как я не выдержал и снова привстал, хоть Ольга и запретила. Я просто не мог понять, куда подевался мой шрам. Его что – удалили?

Что-то такое я тогда и подумал. Хотел сдернуть одеяло, но оно оказалось каким-то невероятно тяжелым. Просто бетонная плита. Помню, я даже хихикнул – от всей этой нелепости. Но, поднатужившись, помогая себе ногами, все-таки сбросил его на пол.

Вот тогда-то я ее и увидел. Свою руку. Я смотрел на нее как замороженный. Как будто она не моя, а чужая. Просто какая-то посторонняя рука. Лежит себе у меня в постели. Сжимает и разжимает пальцы. Скользит ими по простыне. Я

смотрел и понимал, что она делает. Она ищет шрам, которого нет. На ноге, которой нет.

Вместо нее была простыня – мягкая и сморщенная, которую я по ошибке принял за кожу. А над простыней – ничего. Я так резко нагнулся, что проводок капельницы вздыбился канатиком, но я тянул и тянул его к той простыне, зачерпывая пальцами воздух. Раз, второй. Я черпал и выпускал, снова и снова, как песок. Я не мог понять, что это за приколы такой. Почему я не вижу свою ногу? Я же знал, что она там. Я ее чувствовал!

И вдруг увидел, как из-под пластыря, которым иголка капельницы крепилась к руке, брызнула струйка крови и закапала на простыню. Кап-кап. Прямо через мою невидимую ногу. Я чувствовал, какая она теплая. Не нога, а кровь. Смотрел во все глаза, но ничего не видел.

А потом от ужаса стал орать. Даже не помню, что я там кричал. Просто орал. И звал маму.

Наверное, из-за лекарств, но дальше я мало что запомнил. Только мамино лицо – бледное и круглое. Оно раскачивалось надо мной – влево-вправо, взад-вперед, как какой-то взбесившийся маятник. А я смотрел и думал – странно, у мамы лицо – оно же, наоборот, острое, с такими, ну, как будто тенями, а тут расплылось, как луна. Да, наверное, все-таки из-за лекарств. Потом, когда их убрали, я понемногу стал приходить в себя. Снова.

Мама навещала меня постоянно. Первое время даже не

уходила, ночевала в палате. По крайней мере, я так это запомнил. Что за окном ночь, а рядом она – сидит в темноте и смотрит на меня немигающими глазами.

Она теперь все время так смотрит. У мамы вообще такой странный вид, как будто из нее всю воду выкачали. Наверное, не все шестьдесят процентов, но половину точно. По крайней мере, я ни разу не видел, чтобы она плакала. С того самого дня.

Конечно, мама все помнит. Бывает, вздрагивает – резко так, как от удара. Но не всегда. Есть вещи, о которых она спокойно говорит. Тихим таким, аккуратным голосом. Например, про свою студию. Как же она радовалась, когда ее нашла. И прямо за углом нашего дома! Правда ведь, находка. У мамы же еще близнецы, а там садик рядом.

Был. Теперь от этой студии только стены остались. А вот садик уцелел. Только близнецам теперь что, если мы уже в Днепре.

Я и этого не знал. Потом уже, когда тетя Оксана меня навестить пришла, понял. Она же там всю жизнь живет. И мы теперь вроде как тоже будем.

Тетя Оксана – это мамина подруга. Они с детства дружат, в школе в одном классе учились. Но тогда они мало общались, а вот потом, когда их в танцевальный ансамбль взяли, там уже понеслось. Правда, мама все это дело в итоге бросила и пошла учиться в университет. А потом папу встретила и меня родила. И еще близнецов. В общем, жизнь ее так за-

крутила, что было уже не до танцев.

А тетя Оксана наоборот – все плясала и плясала, пока в какую-то дикую историю не вляпалась с танцами этими. Или с Турцией? В общем, что-то там случилось, а дядя Юра ее вытащил. И теперь тетя Оксана про ансамбль даже не вспоминает. А зачем, если она и так купается в роскоши. Дядя Юра этот – вроде как ее муж. И не последний человек в городе! Не знаю, может, министр какой.

А мама вот всегда говорит, что роскошь – это еще далеко не богатство. Потому что главное богатство – это мы, то есть дети. Думаю, она именно поэтому в итоге к танцам вернулась. Открыла свою студию. Учит маленьких девочек танцевать.

Думаю, что да – это все из-за любви к детям. Ну, по крайней мере, точно не ради заработка (ха-ха!).

И почему учит? Учила. Студии же теперь нет.

Зато есть тетя Оксана. Мама говорит, если бы не она – не знает, что бы с нами было – такими. У нас ведь больше никого нет. Ни родных, ни близких. Ну ладно, есть еще тетя Тома. Но она живет у черта на куличках – в Феодосии, и к тому же папу на дух не выносит, так что родством там вообще не пахнет.

А тетя Оксана вроде как и не родная, а вон какой оказалась. Роднее многих! Сразу дядю Юру подключила, а тот уже какие-то свои связи поднял, и маму с близнецами следом за мной в Днепр перевезли. Без документов. Без всего! Я этого,

конечно, не помню – на операции был. Не по теме ноги. Мне же еще осколком в живот прилетело – пришлось зашивать. А ногу вот не смогли. Не пришили. Мама говорит – слава богу, бедро не задело. Есть к чему протез крепить. А я говорю... Да ничего не говорю... Я и ее почти не слушаю.

И дело не в ушах – они как раз в полном порядке. Просто я не хочу – ни слушать, ни говорить.

Ну, про дом спросил, конечно. Там же мои вещи. И про соседей еще. Как они? Все выжили?

Мама сначала молчала, но потом призналась, что дома больше нет. Соседи есть, но не все, потому что дом – его тоже, считай, на куски разорвало. Верхние этажи сразу срезало, как бритвой, а остальное уже само по себе рухнуло – такая вот хлипкая конструкция.

Спасибо дяде Лёне, соседу нашему. Он, когда бомбежка началась, маму с близнецами в подвал увел. А так бы я не знаю, что было. Наверное, больше ничего – как с тем стадионом.

Но если честно, про дом и про вещи – я все это больше для мамы спрашивал, чтобы она не смотрела на меня такими глазами. Как будто мне уже все равно.

Вообще-то так оно и было вначале. Сразу я не мог понять, что со мной творится. Может, отлежал себе что или из-за лекарств, но телом я почти ничего не чувствовал. Поэтому и казалось, что мне все равно. Как будто я уже умер.

Но голова у меня работала по полной. Я слышал, как там

все крутится и вертится – слова, мысли какие-то, даже вопросы. Но не про дом и соседей, а те, которые я не мог задать. Вот их я особенно чувствовал – как они давят мне на уши изнутри.

Я много чего хотел спросить – такого. Например, уехали ли Хмельницкие. Ну, про Катьку. Они же на пятом жили – она, родители и Ксюня – сестра ее. А если там эта «бритва» была, на верхних этажах, то как они тогда успели.

Я не мог про это спросить. Я даже думать об этом боялся. Что моя Катька – вот эта смешная дурында в очках – пропала. Исчезла, и теперь на ее месте ничего нет. Просто пустота.

Поэтому и молчал. Держал эти вопросы в себе. Терпел, хоть они и рвались наружу. Потом уже стал по одному выпускать. По частям о том о сем спрашивать. Но только не про Катьку. И не про папу.

Но мама о нем сама рассказала. И обо всем остальном.

* * *

В тот день наш район попал под обстрел. Бомбили вроде как «Градом». Я раньше не задумывался, откуда это. Град и град. А теперь понимаю. Эти снаряды – они же и правда с неба сыплются, как градины. Только бьют не зерно, а людей.

И животных. Столько домов разрушили, гады. А там же кошки, собаки! В чем они-то виноваты? А дети? Большие, маленькие, всякие. Я на близнецов теперь смотреть не могу

– сразу думаю, что было бы, если бы в них снаряд попал. И тут же вспоминаю папу.

Вообще-то я об этом и не забывал никогда. Просто та картина, папа и птицы, – она сжалась у меня в голове до малюсеньких размеров. Стала такая крошечная, как пуговица. Может, от взрыва. Или я сам так захотел? Не знаю... Я просто взял ее и запихнул куда-то внутрь – глубоко-глубоко. Так и живу теперь с этой картиной внутри. Знаю, что она есть, а посмотреть не могу.

Больничный психолог говорит, что так и должно быть. Якобы психика по-своему среагировала на стресс и отрицание в моей ситуации – это естественная реакция организма. Такая же, как боль.

Ха-ха. Реакция. Я же не чувствую ничего! Даже когда мама сказала, что «папы больше нет», я вообще никак не отреагировал. Я просто не понял, о чем она. Смотрел на нее как на сумасшедшую и думал, что за чушь вообще. Я есть, а его нет. Может, она просто бредит? Вдруг я не знаю, а ее тоже контузило.

Конечно, все эти мои сомнения... Я же не сомневался! Я четко знал – папа умер. Тот снаряд и мамино лицо, когда она говорила, – там без вариантов было. Но для мамы, может, и да. А для меня все эти «погиб» и «больше нет» – это просто бессмысленные фразы и больше ничего. Ни горя, ни слез. Для меня папа был живым. Я же видел, как он улыбался. И ничего другого знать не хотел.

Я не хотел этого знать. Не сейчас. Никогда. Мне же только-только тринадцать! Детям, пусть даже большим, запрещено, не положено такое знать. Как человек, живой и здоровый, самый любимый на свете, моментом превращается в пыль. Вот только он бежал и смеялся, и вдруг – какая-то пыль. Такого не может быть! Нет, нет и нет. Должно же хоть что-то остаться!

Хотя бы ваза. Я теперь понимаю, почему мама так кричала. А ведь от бабушки еще могила осталась. А от папы вообще ничего. Все наши вещи сгорели. И он тоже.

Мама его кремировала. Сказала, что папа сам так хотел, но я не верю. Вообще, да? Он жить хотел! Любить маму, растить близнецов, играть со мной в футбол, а не стоять на полке. Она его в кувшин высыпала после всего. Высыпала моего большого двухметрового папу в кувшин, как какого-то дурацкого джинна. Разве такое можно понять?

Нельзя. Я до сих пор не понимаю. Каждое утро открываю глаза и, еще не проснувшись, представляю, как он сейчас войдет. Как ни в чем не бывало! Войдет и скажет «привет». Сядет ко мне на кровать и будет задумчиво есть яблоко. Или банан? Что они мне там все носят?

А я буду смотреть на него и молчать, чтобы не тратить время на слова. Я буду молча смотреть и запоминать, какой он. Улыбку, то, как жует и как смешно дергаются его уши – от знакомого истребительного жевания. Я буду смотреть долго-долго, пока не заболят глаза. И даже с закрытыми все

равно буду видеть его такого. Живого. И даже если что-то случится, вдруг и сразу – самое страшное, я все равно буду его видеть. Теперь да. Я же все успел! Запомнил его как следует, пока он там жевал. И больше никогда не забуду. Теперь он внутри меня.

Глава 3

Из больницы меня выписали за неделю до дня рождения. Я даже немного обрадовался поначалу. А что? Вполне себе подарочек! Еще спросил у мамы – куда мы теперь? Думал, может, в макдак заедем, ну или сразу в ресторан. В честь такого-то события!

За нами дядь-Юрина машина приехала. Одуреть какая тачка! Черная, громадина. А внутри – шофер! Как в кино каком-то.

А мама, видно, решила, что одного подарка мне недостаточно, и сказала:

– Отвезите нас сразу в больницу, пожалуйста.

Я весь сжался. Как? Мы же только отъехали! Или это шутка такая дурацкая?

Оказалось, что нет. Госпиталь – это не шутка, а «так надо!». Потому что мне, видите ли, нужна реабилитация.

Не могу сказать, что я сильно сопротивлялся. А что там кому доказывать? Ясно же, что реабилитация эта не мне нужна, а маме. А мне, пожалуйста, сразу яд. Две порции! Ну, в худшем случае просто билет в один конец мира. Но только чтобы без никого!

Вообще, я таким вещам уже хорошо натренировался. Знаю, как себя вести в подобных случаях. Очень просто, кстати. Никак!

Сначала, конечно, тяжело было. Невыносимо. Я даже разговаривать не мог. Лежал – глаза в потолок – и маялся, думая, когда же он рухнет. Так на меня эта реальность давила.

Но... как там мама говорит? Ко всему привыкаешь? Ну вот, и я привык – за столько-то недель! И теперь меня уже ничем не удивишь, даже танком. Такой я стал снарядонепробиваемый.

Уколы? Ха! Очередной гипс? Да пожалуйста! В больницу «на пожизненно»? Ну я-а-асно. А чего так мало-то?

Вот и тогда в машине я сказал: «Ясно!» Отвернулся и стал смотреть в окно. Сначала даже с удивлением, когда увидел траву на газонах. Реально, странно! Только, кажется, снег лежал, а тут какая-то трава. И апрель!

А потом меня по новой тоска накрыла. Ну трава и трава. И апрель этот – кому он вообще нужен?

А еще я зачем-то вспомнил, как мы с Катькой его ждали. Хотели съездить в Киев или в Одессу. Пункт назначения – все равно куда. Важно, чтобы только вдвоем.

Понятно, что нам бы не разрешили далеко. Но мечтать-то никто не запрещал!

Мечтать. Ха-ха. Разве есть вообще такое слово?

* * *

Не знаю, может, для кого-то и есть. Раньше ведь и для меня было. И сам я – тоже был. Весь такой в фантазиях. О чем

я только не мечтал. Не только о Катьке, нет. Я джемпер хотел. И мопед. А еще лучше контроллер в виде руля, чтобы гонять не выходя из дома. Ну и PlayStation, конечно. Желательно новенькую. Пятерку!

Но это уже такая была мечта – чуть ли не запредельная. Но и самая-самая! Просто тогда казалось – куда я без «игрушки»? А теперь вот думаю – что за бред? Куда я без нее? Да куда угодно! Только ноги дайте. Не джемпер, не мопед, а ноги. Ногу. А все это барахло – зачем оно мне? Если я на своих двоих могу. Мог. Теперь я только об этом и думаю.

И в то утро думал. Именно думал, не мечтал! Что я, дурачок, что ли, не понимать, что обратно она уже не вырастет и никакие силы на свете не смогут этого изменить.

Я же тогда еще не знал, что мама с Оксаной (она сама сказала так ее называть) вот-вот явятся.

Нет, ну, положим, догадывался. И уже заранее понимал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что День рождения – это ведь светлый праздник. А когда у тебя в душе сплошные поминки, то при чем здесь праздник? Мы и свет-то в палате особо не включаем. На что там смотреть?

Но мама – она же упрямая, не передать. Недаром Овен, как и я. И вот картина. Лежу я себе, значит, на кровати, с Михеичем в карты режусь. Карты – это полный отстой, но когда ты заживо гниешь от тоски, тут уж не до высоких материй. Хотя вот Михеич считает, что «Дурак» – это игра полезная во всех смыслах. Якобы развивает интеллект и даже

сверхспособности. Раньше я бы в такую чушь ни за что не поверил. Но Лёхе, в смысле Михеичу, уже пятнадцать, и он об этой жизни кое-что знает.

И не только об этой, кстати! Человек вон уже и на том свете успел побывать, пока «под ножом» лежал. Ну, на операции. Говорит, что никакого Бога там нет, а вот парочка чертей точно пробежала. Он вроде как за ними кинулся, чтобы разузнать, что и как и продают ли у них в магазине нашу земную колу, но врачи его быстро назад вернули. А руки не спасли – там их по самые плечи оторвало.

Вот Димычу – слону этому – повезло. У него только кисть. Это он снаряд решил за бочок потрогать. В девятом-то классе! Дурачок, да? А у Тихони нашего, ну, Тишки – самого мелкого в палате – наоборот, стопа. Но он, в отличие от Димыча, никуда не лез. Ему, как и нам с Михеичем, само прилетело.

Так вот, про карты... Почему я вдруг поверил во все эти сверхспособности? Да потому что Михеич в них ногами играет!

Мы как раз смеялись, как он красиво туза за ухо заправил – одной правой. И тут мама с Оксаной заходят. А у мамы такой вид – ну точно как у школьницы, съевшей втихаря чужое мороженое. Я ее давно такой не видел. Вроде как улыбающейся. А Оксана как заверещит:

– Ренатик, дорогой, с днем рождения!

Вот тоже странно. Когда она меня попросила не называть

ее тетей, я тут же согласился. Ну и правда, зачем напоминать человеку о грядущей старости? Тем более она для своих лет вполне неплохо выглядит. В сравнении с мамой – всего-то лет на двадцать старше.

Да, я злой. Но это лишь потому, что я ее тоже кое о чем попросил. **НИКОГДА НЕ НАЗЫВАТЬ МЕНЯ РЕНАТИКОМ.** И ведь она согласилась! Сказала – конечно, ты же уже не маленький.

Сам знаю, что не маленький! Вот только недели не прошло, и что же я снова слышу? «Ренатик, с днем рождения!» Тьфу!

А она же еще и целоваться полезла! Слава богу, дядя Юра не видел. Он страшный человек – этот ее муж. Мрачный такой, как будто уже всё повидал на своем веку. Будто это ему, а не мне ногу отрезали!

А мама тоже молодец. Стала в сторонке и смотрит, как эта ее Оксана ко мне на кровать уселась. В этой своей юбке. А как же дезинфекция? Вот она ее прошла? У нас с этим, между прочим, строго.

Но на самом деле я даже и не злился особо. Ну, поморщился слегка. Потому что я хоть и одноногий, но по природе все равно – человек. Мне маму жалко. Она прямо в размерах уменьшается, когда я не в духе. И так ко мне, и эдак. Видно, что угодить старается. А тут еще и день рождения.

Конечно, я понимал, что они не просто так пришли, а с подарками. Ну и сел, значит, руки сложил. Всем своим ви-

дом показываю, что готов принимать дары. А мама так робко:

– Сынок, у нас с тетей Оксаной для тебя подарок.

Интересно, это она случайно «тетю» добавила или в ней просто дружественные чувства разыгрались? Не удивлюсь, если даже по поводу той самой юбки.

Ну, я просто свою маму знаю. Она, конечно, добрая, но тоже с юмором, как и все в нашем роду.

В общем, я такой «ха-ха» про себя и дальше сижу. И еще так благосклонно киваю, мол, давайте уже дарите свои подарки.

А мама мне: «Сейчас-сейчас». И все на дверь оглядывается, как будто там Дед Мороз стоит – ждет своего коронного выхода. Ну или Микки Маус. К малышам нашим из соседней палаты один такой часто ходит.

И тут – сцена. Заходит Богдан Тамирович, мой протезист, а в руках у него коробка. И они все – он, мама с Оксаной и даже пацаны – вдруг хором начинают петь «С днем рождения!». И хлопать.

А Михеич, главное, туда же. И еще же зрелище такое... Прямо ух, не для слабонервных. Как он этими своими пятками хлопал!

А я вот не хлопал. Мне было все равно, что пятки, что коробка – одна тоска. Но Богдан Тамирович чуть ли не силой мне ее всучил. И все такие:

– Открой, открой!

Ну я и открыл. И еще же такое лицо изобразил... ну, вроде знать не знаю, что там, но уже заранее восхищен.

Ага, знал бы я заранее... Там нога лежала! Моя, как я понял. Новая.

И все опять:

– Ура!

А Димыч такой:

– Офигеть! Прямо как у киборга!

А я ему с чувством:

– У говниборга, – и закрыл коробку. А мама сразу серой стала. И такая:

– Ренат, ну ты что? Хоть посмотри, какая!

А я так холодно, исподлобья:

– Какая?

А мама, наоборот, с дрожью:

– Хорошая! Дорогая! Оксане спасибо скажи. Ты с такой даже в футбол играть сможешь.

Я молча кивнул. Так, никуда не глядя. А Оксана эта – ну вообще... доверчивая! Сразу защebetала:

– Я вам говорю, эти немцы – это суперкачество! Тебе же понравилось, правда? Ну, Ренат, скажи!

А я уже сказал. Она что, не слышала? Но ради такого дела можно ведь и повторить.

– Да, – подтвердил я торжественно. – Именно о таком подарке я всю жизнь и мечтал.

И еще так глаза закатил – иронично. Чтобы до этой бес-

толковой Оксаны наконец дошло, что я обо всем этом думаю. А она, видно, решила, будто я такое про нее думаю. И сразу покраснела.

А мама тоже – как вспыхнет:

– Ренат! Тебе не стыдно? Люди ради тебя старались.

А я посмотрел на нее в упор и сказал:

– Пусть будет стыдно тому, кто из меня калеку сделал. А мне все равно.

Лег и отвернулся к окну. А Богдан Тамирович такой:

– Ничего, парень. Мы им еще покажем! – и так бодренько мне по спине хлоп-хлоп.

Ну понятно. Он таких, как я, по сто раз на день видит. Вон, целый этаж лежит... как нас там... мутантов? Нет, ампутантов!

Но я ничего не сказал. Хотя, может, и зря. Спасибо так уж точно мог бы выдать. Богдан Тамирович хороший. Сильный, раз с такими, как я, возится. Говорю же, целый этаж, и это только в нашем корпусе!

Но вообще я правильно сделал, что смолчал. А то пришлось бы и маме спасибо говорить. И Оксане этой. А за что, спрашивается? И почему именно сейчас – в мой день рождения?! Это разве подарок? Нет, это мучение какое-то!

Неужели они не понимают, что для меня эта нога – не нога! А еще одно напоминание о том дне. Обо всем, что случилось тогда со мной и с папой. Да не надо мне таких подарков! Мне вообще ничего не нужно. Только он.

Но где? Где такое можно заказать? Чтобы он вернулся и больше никогда не исчезал. Богу, что ли, позвонить? Дал бы кто его номер.

Потом все ушли. Богдан Тамирович по своим делам, а мама с Оксаной пить кофе. А ногу мне оставили. Я лежал к ней спиной и думал – дикость какая-то. Нога лежит у меня за спиной. Ну серьезно, да? Обалдеть какой подарочек!

У меня даже голова разболелась. Так теперь всегда бывает, если я злюсь или как-то нервничаю. Врач еще в больнице мне объяснил – вся эта боль потому, что от контузии еще никто так просто не отходил, и что мне категорически нельзя волноваться. А второй врач, который уже здесь, – реабилитолог – каждый раз говорит, что волноваться можно и даже нужно, но только позитивно.

Думаю, он надо мной издевается. Но волнуюсь, чего уж там. Врачей надо слушаться. Вот как подумаю о папе – сразу такая волна! Я в нее с головой занырываю, хоть и плаваю так себе, на троечку. Но там внутри ничего – тишина и спокойствие. А вначале, конечно, мотает!

Но всегда-всегда помогает. Это уже проверено.

Мама вот наоборот – даже не говорит о нем. Ни слова! Думает, что меня это ранит. Но меня-то ранит другое! Ее молчание – вот что. То, как быстро она про папу забыла. Я понимаю, что она не забыла. Но зачем тогда молчать? Как будто его и правда нет. И никогда не было.

Поэтому я стараюсь думать сразу за двоих. Много-много!

По сто раз на день, с перерывами на обед.

А сегодня... Я решил, что сегодня это вообще будет безо всяких пауз. Потому что мой день рождения – это же наш с ним день. Тот самый, один-единственный в году, который мы всегда проводили вместе. И то, что его теперь нет, – это вообще ничего не меняет.

Тем более что он есть. Главное, не забывать о нем думать.

Но я и не забываю. Я думал с самого утра, как только проснулся. И думал бы дальше, если бы мама с Оксаной не пришли и с этой ногой не начудили.

«Но кто мешает начать все с начала!» – подумал я заново и, зажмурившись, стал воскрешать папу во всех подробностях.

Начал с того, что вспомнил прошлый год – как мы с близнецами в пиццерию пошли, а мама опоздала. И хорошо, потому что они там такое устроили! Сёма кувшин разбил, а Ерёма официанта укусил. Он такой – всех кусает, даже тех, кто ему нравится. А уж если наоборот...

А папа – он как-то умел с ними. Хоть и баловал, конечно. Даже сверх. Как по мне, детям нельзя столько всего разрешать, сколько он мог. Но, возможно, я и не прав. Близнецы-то его слушались. Меня и маму – никогда, а вот его – да.

Хотя что удивляться? Папу по жизни все дети любили. И взрослые, кстати, тоже. Вот тогда в пиццерии... Он пошел и тут же обо всем договорился. Вообще без всяких проблем. За кувшин просто заплатил, а за Ерёмин укус не стал, потому

что у официанта, как выяснилось, своих двое и он все понимает. Хороший оказался. Да там вся пиццерия такая была. Как мама говорит, душевная. Жаль, что она тоже сгорела.

Воспоминания эти. Я лежал и представлял ту дорогу, по которой мы возвращались домой. Прямо видел, как мы идем по ней впятером – такие счастливые. Вот я – размахиваю руками и что-то рассказываю. По-моему, про нашу химичку – как она визжала, когда мы на уроке покрасили ей парик реактивом.

Папа смеется. Он идет, слегка покачиваясь, потому что несет близнецов, а мама – наоборот, слишком уж ровно. Ну, осанка же для нее – главное правило жизни. А папа всем этим страшно любителю и говорит, что у нашей мамы королевская походка. А в руках у нее цветы, которые он подарил ей в честь меня. Папа делает это каждый год, с самого первого моего рождения. Делал. Двенадцать лет подряд. А на тринадцатый год уже не успел.

Я проглотил набежавшую слюну и почувствовал, что она не идет. Собирается и стоит – уже полный рот набрался, но дальше никак, вообще не двигается. Я сразу понял, что это из-за того кома.

Он всегда незаметно растет. Никак не чувствуется. Я просто в какой-то момент вдыхаю и выдыхаю, а в следующий раз уже всё – не могу. Горло пережато. И этот проклятый, ненавистный звук внутри: «Зы-ы-ы, зы-ы-ы». У меня от него все ребра синие.

Я уже сто раз в зеркало смотрелся, думал, может, увижу, где он там застрял. Так попрошу мазь какую дать. Ну или как-то вытащить. Невозможно все время терпеть, как эти сиянки ноют.

И в глубине души ведь понимаю – их уже ничем, ничем не залечишь. Только если дышать – ровно так, чтобы выдохнуть панику. Тогда помогает. И ком этот – он тоже по чуть-чуть проглатывается. А потом – бамц – и нет его. Разве что живот немного болит.

Вот и сейчас то же самое. Не успел я как следует запаниковать, а все вдруг прекратилось. Но не само собой, конечно! А потому, что я случайно переключился с тех папиных цветов на другое.

Я решил, что сам их маме подарю! Понимаю, звучит как бред. Я себе так и сказал – ты что, совсем уже?

Но я не сошел с ума, нет. Это точно! Просто в какой-то момент почувствовал, что ком отступает. Как будто мои мысли его куда-то вниз толкали. Понятно, что я об этом вроде как в шутку подумал. Ну, про маму и цветы. А оно вдруг помогло! И я как-то сразу сообразил, что нужно думать и дальше. Просто держаться мыслями за эту идею. Повторять про себя: «Цветы, маме, подарю». Одно и то же и по многу раз.

А еще лучше так и сделать! Не просто сделать, чтобы сделать. А чтобы нормально задышать.

Вот так, в одну секунду я до всего этого додумался. Взял и вскочил. Не на ноги, естественно, а так – сел просто. Потя-

нулся за костылями и тут же вспомнил, что мама их вчера на подгонку отдала, а то все время кренит направо. И коляски нет. Ее Тихоня забрал – покатил на процедуры.

С коляской этой тоже – беда. Она же у нас, как у мушкетеров, одна на всех.

А надо, чтобы у каждого своя была! Чтобы сел и поехал, если что. Мало ли куда человеку надо? Вот мне, например, за цветами. Маме. Подарить.

Фух!

Но кого что волнует? У них вон и за протезами очередь, как в тот рай. Хотя по смыслу, конечно, больше ад подходит. Такого никому не пожелаешь.

А очередь эта и правда – адская. Мама говорит, что приличный протез вообще нереально достать. Ну, по крайней мере бесплатно. А не бесплатно еще нереальнее. Потому что там такая цена! Надо как минимум что-то продать, чтобы его получить. Скорее всего, что-то из органов.

До меня только сейчас и дошло, что мама тогда про протез говорила. Мол, скажи спасибо, люди старались. Это, получается, Оксана, что ли, за него заплатила? Ну конечно, она, а кто еще? Сами бы мы не смогли.

Если только мама не додумалась что-нибудь продать. Хоть бы только сережки, а не что-то из...

Хотя нет, бред, конечно. Я бы такое сразу заметил!

Но эта мысль, что мама смогла бы ради меня пожертвовать какими-то своими частями, – она меня никак не отпускала.

Я уже даже про цветы забыл. Переключился на почки.

Дошло до того, что в итоге подумал – может, и правда надеть эту ногу? Порадовать маму, раз ей важно.

Мне вдруг даже самому стало интересно – как далеко я смогу пойти. Вот, к примеру, в цветочный. Смогу?

И тут же понял, что нет. Конечно, нет. У меня же нет денег! И сразу подумал – И ЧТО? Может, это кого-то и остановит, но точно не меня. Меня это еще больше подстегнуло! Я подумал, сейчас приду такой с этим своим протезом, так мне еще и гвоздики какие бесплатно дадут. За службу отечеству! Ну а что, я ведь свою ногу не просто так потерял. А на войне!

В общем, я уже в эту идею с цветами, как кот в колбасу, вцепился – так, что не вырвать.

Ну и взял ногу. А она легкая такая... Намного легче моей левой. Понятно, ее же в Германии делали. А мою родную... Ой, да кто в те времена о качестве думал?!

В общем, я подумал немного, повертел ее, а потом давай прикладывать. И так и эдак. Я же считал, там все просто. Вот тогда, например, когда мы с Богданом Тамировичем первый раз ее тестировали, все легко получилось. Я даже не смотрел особо, как он ее ко мне прилаживает. Встал и пошел с медбратом – гулять в брусках. Через шаг там как болванчик кулялся.

А Богдан Тамирович потом маме еще кучу всего наговорил – про протяжку какую-то, и что гильза в протезе должна быть обязательно вакуумная. Типа присоски. Ну, потому

что я вроде как подросток и должен жить полной жизнью, не чувствуя никаких неудобств.

Ха-ха. Будто я могу что-то чувствовать. Чем? Воздухом?

Но протез этот и правда – какой-то навороченный оказался. Не будь он моим, я бы даже рассмотрел его повнимательнее. А так только кожу натер, пока пытался натянуть.

А эти, главное, сели вдвоем и смотрят. И еще советы раздают, как правильно.

Михеич сразу сказал:

– Ты куда без протяжки пихаешь? Совсем дурак?

Ну, Михеич у нас, конечно, продвинутый. Ему на правую вон уже коррекцию делают. Так что он по-любому знает, что и как.

Но я все равно не стал его слушать. Из гордости – это во-первых. А во-вторых, рука – это вообще не нога. Ни разу! Там же функционал разный.

А Димыч смотрел-смотрел, как я на себя это добро натягиваю, и такой:

– Ты хоть той стороной прикладываешь, а, друг Бамбл-би? – И как заржет. А Михеич следом: «Гы-гы-гы».

Я даже немного обиделся. А то непонятно! Там вообще-то снизу стопа! И еще посмотрел так – мол, нашлись умные. А они еще громче: «Ха-ха-ха!»

Тут я уже разозлился. Думаю – да провались ты! Ну, про ногу эту. Зашвырнул ее куда-то, встал и пошел.

То есть как пошел. Ступил и сразу носом в пол. Понятно,

какое у меня теперь равновесие.

Главное, лежу и ржу сам с себя. Обидно, конечно. Но что еще делать, кроме как веселиться? Не реветь же. Если бы это только помогало!

И тут Богдан Тамирович вбегает. А я лежу. А он как закричит:

– Вы что, совсем с ума посходили?

А я так, посмеиваясь в пол, отвечаю:

– Все нормально. Я просто за цветами шел.

А он склонился и уже по-доброму:

– Ну и как, далеко ушел?

А мне вдруг резко стало не до смеха. Просто – раз – и как будто шторы на глаза натянули, такой беспросвет.

Я даже пол этот уже не видел. И Богдана Тамировича – тоже. Хоть он и прижал меня к себе, чуть ли не нос к носу, пока поднимал. А потом еще так взял, встряхнул аккуратненько и сказал в упор:

– Держись, парень. Дальше будет легче.

По-хорошему сказал, прямо чувствовалось, что искренне. Но я все равно отвел глаза в сторону и ответил, ровно так:

– Держусь.

Потому что я понимал все. С самого начала понимал и знал, совершенно точно, что никакого «дальше» больше не будет. Только не для меня.

Тяжелее всего с утра, ну и вечером еще – когда к нам домашние приходят. Поначалу было ничего, даже терпимо – пока все не перезнакомилось. Лежишь себе, никто тебя не трогает. И вопросов дурацких не задает типа «как твои дела?», «как самочувствие?» и самый коронный «мне кажется или ты сегодня какой-то грустный?».

Но это уже потом началось – типично родительское. А вначале, говорю же, все просто молчали. И мы, и они. Мы даже между собой особо не общались! Так, поморгаем друг другу для приличия и дальше лежим – потолок глазами подпираем. А эти так вообще – вели себя странно. Прибегут, пакетами пошуршат и обратно выбегают. Как сговорившись, ну. Боялись они нас, что ли?

Лёхина бабушка – та до сих пор боится. Зайдет и давай с порога креститься. Еще и молитвы какие-то нашептывает. Я не то чтобы вслушиваюсь, но ее это «Мати Божа» по сто раз в минуту сложно не заметить. И то, как она в одну точку смотрит. Реально, как сумасшедшая. Вот так сядет к Лёхе на кровать и давай из стороны в сторону качаться. И все бормочет: «Мати Божа, спаси і збережи. Спаси і збережи».

А Лёхина тетка – она тоже часто приходит – сразу злиться начинает. Говорит:

– Вы свои молебны в церковь идите читать. Там от них

хоть какой-то прок будет.

Потом подумает-подумает и снова – уже с претензией:

– Где вы раньше-то были – молящиеся? Пока это скотовьё наших детей истребляло? А теперь уже что? Что махать-то? После драки кулаками не машут!

А бабушка тоже – та еще. Вообще никак не реагирует. Я сначала думал, что она глухая. А потом понял – нет. Она это специально, чтобы тетку позлить! У них вообще какие-то странные отношения. Как будто и не семейные.

А Лёха говорит, это потому, что тетка у них – перекапти-поле. Ну, такая... сегодня здесь живет, завтра там. Плюс без семьи – пока еще молодая. А вот бабка – коренная. Где родилась, там и умру, называется. Она вон и в Бога до сих пор верит. И в советскую власть. А тетка – только в рок-н-ролл и анархию.

Я не знаю, может, Лёха шутит просто. Но мне в принципе и так и так – до лампочки.

А еще был случай... Чуть до драки у нас не дошло! Это когда к Тихоне папа первый раз приехал. Он у них в командировке был, когда все случилось. Пока назад долетел... Свет-то не близкий – из Оренбурга пилить! В общем, добрался кое-как на перекладных, а тут такое. Тишкина мама ему, оказывается, не все новости сообщила. Про операцию на ноге сказала, а про то, что ее пришить не смогли, – нет. Ну понятно, человек без подготовки – где стоял, там и сел. Лицо руками закрыл – и в рев. Натурально как маленький.

А тут как раз к Димычу пришли. И тоже папа. Он старый такой. Я сначала думал, что дед, а оказалось, что просто бывший военный. Ну и, в общем, картина. Димыча папа говорит, мол, слезами горю не поможешь. И руку Тишкиному протягивает. Дескать, вставай, брат. А тот как подпрыгнет. И на чистом ругательном, который еще и украинский, – мол, какой ты мне брат, если на чужом языке говоришь? Ты мне даже не друг, а кто-то там... ну вообще! Типа продажный. Я и сам удивился тому, что ничего не понял. Вроде и язык знаю хорошо, но там у него, видно, совсем старая школа какая-то.

А Димыча папа, как я понял по интонациям, той же школы выпускник. Как бросится на него. Мол, это я продажный? Это ты – фашист проклятый, своих же детей под пули подставил и на кусок чего-то там променял. Но вроде как приличного. Может, хлеба? Я просто опять ничего не понял, потому что сразу оглох. У меня же теперь любой внешний шум сразу своим – внутренним – перекрывается. Поэтому я, считай, по губам – что мог – прочитал.

Но про хлеб там точно было. Потому что Димыча мама, которая вместе с папой пришла, сначала к ним бросилась – разнимать, а потом плюнула. Руки опустила и так – с презрением:

– Что вы как два півня – гребенями меряетесь? Свой – не свой. Хоть бы дедов своих уважили. За хлеб, у фашистов отвоєванный, спасибо сказали. А не делили теперь – мое-твое.

– И правда, мужики! – подхватила Лёхина тетка. – Одну землю топчете. Что вам тут делить, ну? Стыдно!

– Господи, прости, – пропела Михеича бабка. – Господи, помилуй.

И все посмотрели на нее, как на врага народа.

Все – это в смысле взрослые. У них же вечно так: главное, свои разборки решить, а потом уже про нас – детей – вспомнить. Вот и война эта... Из-за кого? Из-за них же и началась. Это только говорят, что во всем правительство виновато. А на самом деле всегда и во всем виноваты сами люди. Особенно взрослые!

Нет, сейчас-то, понятно, они запели. Когда уже и плакать поздно! Ах, деточки наши. Ах, родненькие. Только об этом надо было раньше думать. А теперь что? Да ничего! Пусть хоть подерутся. Главное, чтобы нас больше не трогали. Чтобы даже вопросов своих не задавали! Особенно этот: «Почему ты все время молчишь?» Но какое там! Мама меня, чуть что, сразу в сторонку отводит. Вот именно затем – чтобы разговаривать. Там у нас в коридоре кушетки свалены – типа место для свиданий с родными. Вот мы и сидим по очереди – каждый со своими, если в палате неудобно.

Но что там неудобного? Мы вот с мамой ничего такого и не обсуждаем. Так, свои житейские мелочи. А чужие – никогда. Хотя она поначалу пыталась! Все про пацанов расспрашивала: кто они, откуда, чем занимаются? А я что – доктор, чтобы все знать? Отвечал, мол, никто, ниоткуда, ничем. Но

маму таким не убедишь. Она по новой давай, мол, как это ты не знаешь? Вы что – не общаетесь? Я говорю – общаемся, конечно. Если бы не общались – уже бы с тоски умерли. Сто лет в одной палате лежать!

А она мне:

– Ну вот! Видишь? Значит, и про себя, наверное, рассказываете.

И вот тут я уже не выдержал и сказал – зло:

– А нечего рассказывать. Того, что было, – уже нет. Футбола моего – нет. Прогов, которые Димыч писал, – нет. И Тишкиных кроссовок, в которых он на свою робототехнику бегал, – тоже нет. У него теперь одна нога, мам. Ты не заметила?

Мама сразу потускнела. Виновато так:

– Извини, я не подумала...

А я еще надавил:

– Тех нас больше нет. Так давай о них и вспоминать не будем.

Мама вроде как поняла, но я вижу – все равно иногда забывает. Вот недавно спросила:

– А хочешь, я тебе драников принесу? Для настроения, а? Заодно ребят угостишь.

Я чуть язык от злости не прокусил. Договорились же – не вспоминать! Но мама в некоторых вопросах, как те же уколы, – неотвратима.



Вообще, не сказать, что я прямо слезы лью. Чаще радуюсь. Вон с тем же Михеичем... Мы по любому поводу смеемся! А Тихоня говорит, что это у нас истерическое.

Ну, может. Он хоть и маленький, но умный. На какой-то крутой олимпиаде несколько раз подряд побеждал. А потом в Киев ездил – медали получать.

Как по мне, так все эти медали – бред собачий. А Тишка их под подушкой хранит. И нам все время показывает, мол, эта – за русский, эта – за математику. Одним словом – ботан.

А вот мама недавно сказала, что Тихон (ха-ха) – самородок. Я даже не уточнял, что это значит. Уже по одному названию было ясно, что ничего хорошего. Но вообще, Тишка и правда – вроде как вундеркинд. Ему же всего десять, а он с восьмиклассниками учится. Скоро, думаю, уже и до института доберется. Он ведь теперь не только вундеркинд, но еще и инвалид в придачу. Так что у него при поступлении по-любому какие-то льготы будут.

Вообще странно, конечно. Говорить про него «инвалид». Я раньше таких ужас как боялся. Увижу какого бродягу без ног и сразу глаза прячу. А если ребенка, так это вообще – кошмар. А сейчас смотрю на Тихоню – и ничего. Вот именно что ничего – даже не моргаю. Ну потому что какой он инвалид? Румяный, смеется вон – так что щербина видна. И

стопа эта, которой нет, – она ему, по-моему, вообще никак не мешает.

А я все думаю: откуда в нем это? Такое смирение. От большого ума, что ли? Может, и правда есть вещи, которые способен понять только гений. Вот почему, например, именно в меня попал тот снаряд? Почему убили именно моего папу? За что нам все это?

Я же и учился вроде неплохо. Хотя при чем здесь это? Уже за любую зацепку хватаюсь... А так я в эти байки вообще никогда не верил. Ну, что пятерки в дневнике – залог успешной жизни. Учился и учился. Хорошо, ну и хорошо! Я просто сам по себе такой, без всяких стараний. Ну, конечно, не как Тишка, но и не совсем уж тупарь.

Однако же все равно выходит, что глупый. Наверное, глупый, да, раз не могу ответить на все эти вопросы. Зачем? За что? Почему так? Я все думаю и думаю об этом. И про Тишку тоже. Как ему удастся такое? В одиннадцать лет! Вот так жить и радоваться какой-то ерунде, не думая про ногу? Еще и медали под подушкой хранить. Как будто он целую коллекцию займет собирается.

Это же, получается, у него и планы какие-то есть? На будущее. Ноги нет, а планы есть. Как будто его жизнь и без нее продолжается.

Тогда почему моя застыла? Я вот этого не пойму... Я жил и жил, о таких вещах вообще никогда не думал. А тут раз – и меня как будто в морозилку засунули. И закрыли там не

пойми на какой срок.

Я вроде и хочу выбраться, но не могу. Я не знаю как. Я ведь даже ходить не умею!

Ногу эту... Просто видеть ее не могу. Вначале еще хоть как-то переносил, пока не понимал, что да как. И пока бинты были. А теперь вот с протезом этим... В общем, я его почти не глядя надеваю.

Нога! Не протез, а нога. Богдан Тамирович меня каждый раз поправляет. Говорит, что, пока я не поверю в ее существование, толку не будет. А как я должен в нее поверить? Там же металл сплошной. Ни кожи, ни мышц. Ничего живого.

Я, конечно, делаю, что доктор говорит. И массаж, и ток, и общую физкультуру. Надо расхаживаться, самому ноге помогать.

Но я не хочу ей помогать. Зачем это вообще? Я ее ненавижу!

Маме уже сто раз говорил – мне лучше, чтобы без всего. На костылях там или просто в коляске. А с этой ногой... Она же не моя! Так, подделка.

А самое ужасное, что свою я уже тоже не чувствую. Вот как только этот протез надеваю, сразу все ощущения пропадают. Ни дрожания, ни жжения. А шрам мой – он больше вообще не чешется. Я только недавно и понял наконец, что его уже нет. А так чесал все время. Просто закрывал глаза и представлял себе ногу и то, как чешу ее. Кстати, помогало.

Мама говорит, что все пройдет. Что плохое когда-нибудь забудется. Ну да, как же! Легко говорить, когда у тебя две ноги и ты можешь спокойно ходить гулять или там в туалет. Сам, а не с медсестрой, как какое-то позорище.

Но иногда что-то такое у меня проскальзывает. Я не знаю, как объяснить. Вроде сомнения. Или надежды?

Но нет! Это точно сомнения. Просто мама когда-то и про близнецов так говорила. Когда те были маленькие и орали сутками из-за каких-то коликов. Ох они и давали нам жизни! Особенно Сёма. Я уже натурально из дома сбегал, в магазин там или еще куда. Даже ковры выносил выбивать – сам, без всякого принуждения. Лишь бы только ЭТО не слышать. А мама, естественно, видела все мои ухищрения, но ни разу даже словечка плохого не сказала. Ни единого упрека! Еще наоборот, успокаивала, мол, потерпи, сынок, скоро все пройдет.

И ведь прошло же! Близнецы, конечно, и сейчас скандалят – только в путь, но того ужаса, какой был – его уже давным-давно нет.

Вот я и думаю. Может, у таких, как я, и правда все по новой начинается? Просто взял человек и как бы заново родился. Хоп – и снова в роддом. Ну, в больницу эту. Пеленки там, распашонки всякие. Потом, когда уже можно будет садиться, – коляска. А там и до ходунков недалеко. Я же помню, как это у близнецов было. Поэтапно. А теперь вот и у меня, получается, то же. Прямо как у новорожденного!

Нормальный такой сосунок, да? У мужика уже борода, считай, на носу, а он за ходунками ползает. Ужас же, нет?

Хотя, может, и нет. Потому что когда начинаешь жить заново, можно ведь учесть все свои предыдущие промахи и больше не повторяться. Я вот думаю, с чего начать. Больше никогда не есть стекло, как я в три года додумался и шрам заработал – на полгубы. Или до конца жизни не выходить на улицу, чтобы еще какая-нибудь бомба по башке не хлопнула. Или выходить, но не забывать говорить перед этим маме «я тебя люблю» и «спасибо за все». Раз уж папе я не успел сказать ничего такого.

Бред, конечно. Разве жизни можно научиться повторно? Если бы еще не помнить ничего, тогда, может, и да. А так... Когда знаешь, и помнишь, и видишь перед собой не новый день, а вчерашние ужасы. Какая уж тут жизнь?

Но опять же. Кто-то ведь может! Тогда почему не я?

Вот Михеич... Я просто смотрю, как он со своими руками освоился. А вначале тоже ныл. Да что там ныл. Орал! По ночам – так вообще жутко. Требовал отрезать ему руки. Жаловался, что у него пальцы сводит.

Однажды мы целую неделю, считай, не спали – дежурили по очереди, чтобы, чуть что, медсестер позвать. Потому что у Михеича темперамент! Если сразу обколоть, он еще ничего, кое-как успокаивается. А если упустить момент, то всё – тушите свет. Крик будет стоять на всю больницу, про пальцы эти шевелящиеся. Они мне потом на каждом углу мере-

щатся.

До сих пор с ним, кстати, такое бывает. Реже, но бывает. Я уже даже немного привык.

А к самому Михеичу – так вообще. Мы с ним уже как родные. Не представляю, что будет, когда нас по домам развезут.

Хотя по каким домам? Ну, Тишка – он да, к себе поедет. У них же и правда дом – свой, а к нему еще и хозяйство. Куры или утки, я забыл. Но их же по-любому не бросишь, пусть и война. Ну, будут как-нибудь жить. Как и все – жить и молиться, чтобы в окно снаряд не влетел.

А Димыч вроде в Чернигов собирается, к бабушке. Родители его уже, считай, на чемоданах сидят, ждут, пока этого дурня выпишут.

А я, наверное, к Оксане поеду. Ну а куда еще? Там же мама. И близнецы.

Вот, думаю, может, Михеича с собой взять. У Оксаны небось домище, как вся эта больница. Комнат сто, не меньше.

Ну а если и меньше, так что? Ей вообще какая разница – один я буду или с Лёхой?! Притом что он мелкий, много места не займет. А мне хорошо – родная душа рядом.

Хотя, если бы не все эти руки-ноги, мы бы с ним, думаю, вряд ли сдружились. Он же хитрый, этот Михеич, как жук! А я такого не люблю. Мне в отношениях нужна полная ясность.

Вот с Катькой у нас в этом плане был идеальный союз. Я ей, например, говорю:

– Вот же дура, ты зачем волосы покрасила? Тебе этот зеленый ну вообще не идет.

А она мне:

– Да? Зато тебе твои усы – очень!

Ну вредная она была – да. Но своя в доску.

Может, я поэтому к Михеичу так привязался? Потому что где-то внутри изначально понимал – такого, как Катька, – близкого – у меня уже все равно никогда не будет. А с ним по крайней мере весело. Может, мне этот наш смех вообще жить помогает!

Глава 4

Раньше я никогда не замечал дождь. Ну как? Видел, конечно, что с неба что-то капает. Но вот чтобы прямо чувствовать, какой он тяжелый, – такого со мной никогда не было.

Зато теперь постоянно. Льет и льет. А у меня от одного только звука – бам-бамц – сразу все леденеет. Как будто эти капли не по стеклу, а по моим внутренностям лупят. Так и хочется свернуться в какой-нибудь узел, чтобы не видеть, и не слышать, и даже не дышать. Просто замереть и залечь куда-то, подальше от всего спрятаться.

А еще недавно был случай. Олеся, ну, медсестра наша, нечаянно тележку с инструментами опрокинула. Громыхнуло так, что я не знаю... Я даже не вникал, что и как. Просто сразу с кровати упал. Голову руками прикрыл.

И не то чтобы я испугался, нет. Я же понимал: раз окна целые, значит, это не то. Просто у меня тело как будто само по себе сработало, а мозг наоборот... Я же говорю, даже испугаться не успел. Просто взял – щелк – и выключился, как лампочка.

И еще такой лежу, главное, на своей волне. Реально, сам спокойный, а пол подо мной прямо качается. Ну ясно, Димыч, даже если один, и то как слон топает. А уж если они все повскакивали!

А если и Олеся с ними! Эта еще и закричала вроде как.

Ну там спасите-помогите, наверное. Ушами-то я не слышал. Вообще ни намека, как будто и там эти лампочки кокнулись. Просто я видел ноги – как они вдруг набежали и давай возле моего лица топтаться. А я лежу – ну полено поленом! Даже моргнуть не могу – так меня всего сковало.

А потом мне, наверное, укол сделали, и я уснул. А когда проснулся, не мог понять, почему так бок болит. Сначала думал, что от звука этого. Я же уже говорил, он похлеще всякой дубины синяки оставляет. А потом вспомнил, что нет. Мне это «зы-зы-ы» просто снилось. А в действительности ничего такого не было. И паники не было. Я просто оглох!

Я даже специально еще посмотрел, убедился – бок целый, только покраснел слегка. И почти сразу вспомнил, что это я так удачно с кровати слетел, когда от снаряда прятался.

Он мне теперь везде мерещится. В каждом звуке. Вон даже в капле. Я почему этот дождь не переносу? Потому что он громкий. И даже если тихий, все равно к окну я теперь в принципе не подхожу – у меня нервы не выдерживают.

Нет, один раз все же было. Когда Михеича выписывали. Я же думал, этот предатель со мной к Оксане поедет. Уже размышлялся, как мы с ним будем вдвоем на улицу выходить. Я такой – Оптимус Прайм, а он, допустим, Джаз. Или нет, Айронхайд! И вот мы идем с ним, скажем, в парк, а все эти жалкие людишки от нас в разные стороны разбегаются. Вообще все, и даже мороженщик. То есть понятно, да? Весь парк, и тир, и бургерная – все это целиком и полностью на-

ше. А если там еще и лошади будут...

Михеичу, конечно, все равно. Ну правда, куда ему лошадь с такими-то кочергами? А вот я пусть и с одной левой, но еще ого-го. На лошади так точно смогу. У меня же стопа в протезе подвижная.

В ноге. Когда я уже привыкну? Может, и никогда. Тем более теперь, когда с Михеичем такая ерунда получилась. Главное, молчал до последнего, а тут на тебе – Литва. Они, оказывается, в какой-то крутой программе участвовали. Вроде как беженцы. И им вот такое предложили. Естественно, они уедут! Им же там жилье дают, считай, за просто так! А маме Лёхиной работу. Понятно, она же у них универсальный солдат. Ну, программист. А самого Лёху дальше протезировать будут, как он сам сказал – до последнего. Я так понял, это значит до тех пор, пока он сам не перестанет понимать, где у него руки, а где протезы.

Не знаю, может, для него это и правда хорошо. Лёха говорил, что точно. Фотки какие-то показывал, улыбался. А потом, когда они с мамой в машину сели, я понял, что все эти его улыбки... Он сам в них не верил! И в Литву эту тоже.

У Михеича просто такие глаза были... Грустные и еще какие-то. Как будто ему очень страшно. Хоть он и корчил из себя эдакого... типа, ему все нипочем и вообще – видал он эту нашу больницу и нас в том числе. А сам именно на нас и смотрел!

А мы на него – через окно. И через дождь этот. Не силь-

ный, потому что Михеича даже со второго этажа было отлично видно со всеми его рожами. Но я все равно чувствовал, как мой желудок – бамц-бамц – те капли отфутболивает. Мне было тяжело – просто ужас как – сидеть на нашем подоконнике и спокойно махать Михеичу рукой, когда на самом деле внутри у меня все взрывалось. Но я терпел, и махал, и старался не дышать, чтобы случайно не крикнуть: «Стой! Куда ты? Там же опасно!»

Вот такое у меня было чувство, как будто мы втроем остаемся в тылу, в безопасности, а Михеич уходит на войну. Уходит от нас навсегда.

Наверное, я бы даже заплакал, если бы мог. Ну а как еще провожать человека в никуда? Но я не смог. А Димыч вдруг врезал мне кулаком по плечу и бодро сказал:

– Ну-с, первый пошел. Кто следующий?

И они с Тишкой оба на меня уставились. А Тихоня еще с таким видом, как будто я в какой-то круиз собираюсь. Чуть ли не с завистью.

А сам, главное, сразу за Лёхой вылетел. Вот прямо на следующий день. А потом и Димыч следом. Только не в Чернигов, а в Харьков, оказывается. Там у его папы какой-то очередной бизнес наметился.

Чудеса, да? Только что они были, а тут раз – и всё, тишь да гладь в палате. Так странно. А еще хуже то, что я совсем не удивился. Для меня теперь такое – почти что норма. Вот это «был да сплыл». И то, что я один остался.

Один в опустевшем тылу. Помню, я лежал и пытался вспомнить, когда я так привязался ко всему. К этому госпиталю, к пацанам. Как будто мы и правда были семьей (ха-ха, семейкой уродцев), а зеленые стены в палате – нашим домом. Здесь мы были на своих местах – во всей этой непонятной реальности. А все остальное – то, что снаружи: деревья, и дождь, и многое другое за окном – вот это было уже нереально. И дико пугало.

Потом новенького привезли. Худющий весь. И выражение такое в глазах, как печать на лбу: двойная ампутация. Макс, кажется. Я сначала возмутился – почему сразу ко мне? И на Михеича кровать в придачу! Что, других палат мало? А потом вспомнил, что да – острый дефицит. Богдан Тамирович вчера только маме жаловался, мол, это не лечебный блок, а какой-то фабричный конвейер. Одних увезли – других привезли. И еще про то, что мест не хватает.

В общем, я прикинул и подумал – а разница? С Михеичем сжились, и с этим поладим. Суть-то все равно одна.

И уже даже начал вынашивать планы, как бы это продлить себе право на больничную жилплощадь – на пожизненно, как вдруг мама заявила, что пора бы и мне честь знать. В том плане, что давай выметайся.

Естественно, я ничего не ответил. Отвернулся, как обычно, к стене и стал изображать мертвого. Дескать, что хотите со мной делайте, а я из палаты – ни ногой. Даже протезом – и то не выйду!

Но мама оказалась ужас какой хитрющей. На следующий день, пока я бегал, ха-ха, по процедурам, собрала все мои вещи, оформила бумаги и кучу всего еще. В общем, быстренько подготовилась к выписке, чтобы у меня не осталось времени на бунт. И еще, главное, близнецов в палату притащила! Типа группу поддержки.

Они и раньше ко мне приходили, но уже давно. И как-то странно себя вели. Так настороженно, как будто не узнавали. А тут увидели и как заорут вдвоем: «Обат! Обат!»

Ну Сёма заорал. А Ерёма еще громче:

– Мама, мари, ропат!

Я даже удивился слегка. Ерёма же раньше вообще не говорил, а тут уже вон как. Даже лучше Сёмы.

А он опять:

– Ропат, ропат! – и как бросится ко мне. Чуть трость не выбил.

А я сам так обрадовался – не передать. Ну и наклонился, чтобы его взять. Он же маленький, легкий, как муха. Что мне его подкинуть?

Но мама тут же меня за руку схватила. И так, потупившись:

– Сынок, тебе нельзя еще. Рано.

У меня сразу все настроение упало. Я сказал:

– Рано так рано, – и похромал дальше. Еще и трость эту швырнул куда-то. Хорошо хоть сам не упал. А то был бы... королем ситуации.

А тут еще и Оксана, как назло, явилась. И такая:

– Вот это да, Ренат! Уже без трости ходишь?

А как я там хожу? Встал и стою, поджав ногу, что та цапля.

Смотрю на трость, как на жабу, а попросить подать – никак.

У меня же тоже гордость есть, знаете ли!

А вот мама свою, похоже, куда-то далеко запрятала. Пожала плечами и так спокойно:

– Ничего страшного, сейчас подам.

Как будто я об этом просил! Ее что, не учили в школе, что инициатива наказуема?

Я уже как бы и подготовился – хотел выдать ей новую порцию гадостей в знак благодарности, но получить по заслугам мама не успела. Потому что Сёма ее опередил.

И, главное, в одну секунду нарисовался. То за шторой прятался (типа это он так «обота» боится!), а тут вдруг – хватъ – и нет моей трости. То есть по факту она есть, но в Сёминых руках любая вещь сразу в воспоминание превращается.

Вот я и вздохнул с облегчением. Подумал – ну и хорошо, теперь я уже точно никуда не уйду, ползти же они меня не заставят!

Но Сёма тот еще перец. Когда не надо – все как надо делает. Подбежал и такой:

– На, Енат, на! – и сует мне эту трость обратно.

Короче, что и говорить – подсобил. Ну а толку злиться? Тем более на Сёму! Я, если честно, даже захотел его обнять. Хотя бы на руки взять для начала! Тем более он у нас такой

кот – «ручки» эти просто обожает.

А мама снова – тут как тут. И опять тем же тоном – чуть ли не виноватым:

– Ренат, ну пожалуйста. Упадешь ведь.

Ха-ха. Упадешь. Да я и так уже упал ниже плитуса! Вон даже близнецов поднять не могу, как последний калека.

Я ей так и сказал:

– Ну вот и оставь меня здесь. Зачем тебе инвалид в хозяйстве?

А она мне:

– Что ты говоришь? С ума сошел?

А сама такие глаза сделала – умоляющие.

Так оно и понятно. Что тут еще умолять? Я как бы тоже без иронии сказал. Ну, про инвалида этого. Зачем ей лишний груз на шею, когда она уже и так по всем показателям тонет.

Ну а почему я должен молчать? Страдать, как дурачок, в одиночестве... Вон некоторые умные вообще слов не выбирают. Оксана! Заявила вдруг, что шофер нас уже заждался и мы все должны быстренько бежать, чтобы он не умер от старости.

Я поражаюсь этим людям. Быстренько бежать. Ага, сейчас только ногу на плечо закину и побегу. Что мне – сложно, что ли?

Я так и сказал:

– Бегите-бегите, я вас догоню! Где-нибудь к Новому году.

А Оксана такая:

– Ха-ха-ха!

Да-да. Посмотрел бы я на нее в такой ситуации. Как бы она перед своим муженьком на одной ноге прыгала? Как пить дать, смеялась бы!

Нет, я ей ничего такого не желаю, конечно. Но если уж быть честным до конца, то я ей вообще ничего не желаю. НИ-ЧЕ-ГО. Не знаю почему, но эта Оксана меня жутко бесит. В первую очередь своей тупостью.

Я же вижу по ней – она вообще не въезжает в происходящее. Наверное, думает, что нога эта – что-то вроде сумочки. Захотел – надел, захотел – снял и без нее пошел.

А она тут же:

– Так ты ногу понесешь? Или наденешь?

Говорю же, тупица какая-то.

Я закатил глаза, изображая последнюю стадию удушения. Ну а что? Я слышал, глупость может убивать!

А мама тоже – вот совершенно не в тему вклинилась! И такая:

– Ренат, будь добр, собирайся. Иначе мы такими темпами на самолет опоздаем.

На самолет? Вот этого я вообще не ожидал. И такой:

– А куда летим? На острова?

Ну серьезно, я же думал, Оксана где-то недалеко живет. В Днепре хотя бы. А тут, оказывается, вот что. Самолет!

А мама уже явно начала злиться. И так сквозь зубы:

– Я тебя очень прошу, не паясничай.

А я ей наоборот – беззаботно:

– Так а кто паясничает? Я просто уточняю! Имеет человек право знать, куда его везут?

Я думал, она сейчас вконец разозлится и накричит на меня, как в старые добрые времена. Но мама молча отступила. В буквальном смысле отошла. На шаг-два, куда-то в сторону окна. И сказала, никуда не глядя:

– Мы летим хоронить папу.

Глава 5

У меня иногда случаются такие провалы в памяти, когда я совсем ничего не помню. Как будто мне специальными ножницами незаметно подсекают извилины, а я этого даже не чувствую. Ну правильно, а чем? Если я тупой и слепой, как дерево.

Не в прямом, конечно, смысле. Иногда я все же думаю. А уж вижу! Порой то, чего не следует. Но бывают моменты, когда я ничего не фиксирую. Как будто меня на время из розетки вырубают.

Вот с самолетом этим. Последнее, что я запомнил до него, – это больницу и то, как я не хотел из нее уходить. Потом Богдан Тамирович вышел. Обнял меня. Что-то сказал, кажется. Что-то вроде: «Шагай, мальчик. У тебя все получится!» Ха! Мальчик... А про «все получится» я, наверное, вообще придумал. Ну не мог Богдан Тамирович такого сказать. Он же врач, а не какой-то там врун законченный.

Я его, кстати, тоже обнял. Это точно! У него еще халат так странно пах. Чем-то горьким. Или колючим? Я даже закрыл глаза, чтобы ничего не слышать. И не видеть! Потом открыл, а мы, оказывается, уже в самолете. Сбоку от меня – близнецы, и мамина голова впереди, через ряд. С шеей, натянутой, как у куклы. Как будто ее за какие-то невидимые лески к потолку подцепили.

То есть получается, ни сборов, ни поездки в аэропорт я вроде и не помнил. Что-то такое мелькало просто, как картинки, перед глазами. Дорога и то, как мы с Оксаной прощались. По-моему, она еще сказала:

– Ну, будь здоров, Ренатик. Помогай там маме!

Вот же мыбра!

Но это не точно, потому что, даже поднапрягшись, я не мог вспомнить – что и как было в действительности. Вот я и полез к маме за подробностями.

Так прямо перегнулся через какого-то дядьку и позвал:

– Мам!

Дядька, само собой, обернулся. Но и мама – тоже. И так испуганно мне:

– Ренат, что? Ты чего кричишь?

И дядька этот своей газетой – шур-шурх – явно недоволен.

А я еще больше привстал и локтями в его подголовник уперся. И задышал так – чуть ли не в лысину. Я же знаю таких вот, которые газетами шуршат, это обычно страшно нервирует.

Я как-то иначе хотел обо всём спросить. Аккуратно. Но этот дядька меня просто взбесил. Помешали ему, видите ли. А я же не специально! Просто мне так вес держать удобнее.

В общем, я тут же забыл, как именно планировал спросить, и спросил как получилось. Довольно-таки весело:

– Мама? А мы папу где похороним?

Она сразу белой стала. Как мел! Я за ней уже не первый раз замечаю. Что ни скажи такого – сразу вот, реакция. Как будто в ней какой-то кран открывается, из которого всю кровь одним махом спускают.

А мужик этот свою газету чуть ли не зажевал – так сильно в нее уткнулся. У него даже лысина вспотела – вот как.

А мне уже было неинтересно, что там мама ответит, потому что я услышал, как она виновато шепнула мужику:

– Извините.

Нормально, да? За что? А потом еще лучше – послала мне испепеляющий взгляд и отвернулась.

Нет, а что я такого спросил? В конце концов, это же мой родной человек. Я должен знать, что и как с ним теперь будет.

Тем более я знаю папу! Он такого вообще не признавал. Ну, всяких там слез. Вот, помню, когда тетя Ядя (наша соседка по этажу) умерла, мама сильно плакала, потому что она невозможно жалостливая женщина, а папа ей сказал, мол, нечего слезы лить. И что, наоборот, надо радоваться! Дескать, человек такую долгую жизнь прожил, а теперь ему сам бог велел отдохнуть.

А потом, когда умер Вензель – моя морская свинка, – мама снова плакала, хотя, между нами говоря, Вензеля она никогда особо не жаловала, потому что он, видите ли, вонял на всю квартиру своей клеткой. Но тогда она плакала. А я еще громче, потому что какая разница, кто чем воняет, если

это твой друг. Мы же с ним два года в одной комнате жили. Конечно, я ревел, хоть мне и было тогда уже под восемь. А потом пришел папа и сказал:

– Что вы тут устроили белужий хор? А ну марш на кухню. Арбуз на столе остывает!

А я как услышал про арбуз, так еще громче заревел. Это же любимое блюдо Вензеля! А теперь уже всё. Потому что какой арбуз на том свете – в смысле на небесах?

Но папа и тогда нашелся. Сказал:

– Да чтобы ты знал, на том свете только арбузами и кормят!

А я такой:

– Что, правда? Арбузами?

Не то чтобы я сразу купился. Но папа и весь его вид – они были очень убедительны. А он еще, как специально, уточнил:

– Хомяков так точно! А свинок еще и дынями!

А Вензель же эти дыни еще больше арбузов любил. Обо-жал просто! В общем, я сразу успокоился и даже, кажется, рассмеялся, счастливый, что Вензель так хорошо устроился. Сейчас бы я, конечно, в такую чушь ни за что не поверил. Но тогда... Тогда бы я поверил во что угодно и даже в тот свет, лишь бы только Вензелю там было хорошо. Вот правда, мысль о том, что он сидит на какой-нибудь заоблачной лужайке и хрустит в свое удовольствие дынными корочками, – она меня просто к жизни вернула! И маму, как ни странно,

тоже. Хотя она потом еще плакала, когда папа клетку из дома выносил. А я вот нет. Потому что у меня всегда был принцип по жизни – если не папе, то кому тогда верить? И я верил!

Безо всяких оговорок. И сейчас верю. Раз он сказал, что плакать незачем, значит, так оно и есть.

Плохо лишь то, что мне не восемь и никаких заоблачных лужаек нет. И я об этом уже знаю.

Вот близнецам хорошо. Они же еще не понимают ничего. Тот же Ерёма – сидит себе, рисует.

Я спрашиваю: что это ты там изобразил? А он так беззаботно – «цветочик». Цветочек, стало быть. А Сёма тут же:

– А у меня тоже ветоцик. Ка-а-асивый! Маме вот – лаз. И папе – ва.

Я сказал:

– Дорисуй еще один.

А сам подумал:

«Хотя зачем? Это же похороны!»

Но Сёма послушался и стал рисовать. Цветочки. Потом птичек. Ему стюардесса целый альбом принесла. А Ерёме раскраску. И мне еще, главное:

– Может, ты тоже что-нибудь хочешь?

С приклеенной такой улыбочкой.

А я ей мрачно:

– Виски со льдом!

Без «пожалуйста».

Ну а что она хотела услышать. Дайте и мне порисовать?

Но вообще, видно, этого стюардесса и ждала, судя по тому, как скривилась:

– Ты несовершеннолетний!

Ой, я вас умоляю! А слово «шутка» она, интересно, когда-нибудь слышала?

Но я не стал уточнять. Просто смирил ее презрительным взглядом и сказал:

– Тогда просто лед.

И еще так подчеркнуто вежливо добавил:

– С колой, пожалуйста.

Она вздохнула и ушла. Но скоро вернулась с фантой.

А мне-то что? Фанта так фанта. Тем более я этот виски в жизни не стал бы пить. Он же воняет клопами!

– Спасибо тоже не скажешь? – насмешливо спросила стюардесса.

Я так понял, у нее на меня какой-то зуб. И сказал миролюбиво:

– Нет.

Такой еще отвернулся, чтобы и она поняла – вопросов к ней я больше не имею!

Но стюардесса оказалась на редкость непонятливой. Завопила чуть ли не на весь салон:

– Ну и дети пошли! Что ни слово, то хамство.

Лена. Так было написано у нее на бейджике. Я как глянул – сразу понял, что почем. Лены – они все такие. Вроде как с диагнозом.

Пока стюардесса Лена распиналась, я демонстративно зевал, но когда она пригрозила пожаловаться на мои выходки маме, конечно, не выдержал и сказал:

– А вы знаете, что жестокое обращение с инвалидами карается законом?

Естественно, ни о каком таком законе я знать не знал, но от всей души надеялся, что и моя Лена была далеко не первой ученицей в школе.

– Инвалид? – хохотнула эта двоечница. – И в какой же, простите, области?

– Вот в этой, – кротко сказал я и дернул себя за штанину.

– Ой, – смутилась Лена. – Извини. Я же не...

Она нервно скрестила на груди руки, так, словно хотела прикрыться. Потом резко отняла, вроде как поправить волосы. Я видел, еще секунда, и она просто убежит куда глаза глядят. Может, даже в иллюминатор выпрыгнет. Эта мысль меня страшно развеселила.

– Ничего страшного, – я довольно погладил протез и улыбнулся ей почти по-свойски. – Мы, инвалиды, люди привычные.

Лена послушно кивнула.

– Хочешь, я тебе колу принесу? – пролепетала она чуть не плача и, не дожидаясь моего ответа, попяtilась, усевшись на плечо моему знакомому дядьке.

– Осторожнее, девушка! – возмутился он. – Вы мне газету помяли.

«Ну хоть кто-то додумался газету помять», – злорадно подумал я и тут же простил Лену вместе со всей ее глупостью.

На самом-то деле там и прощать-то было не за что. Она же не виновата в том, что я инвалид. Просто эти ее руки то здесь, то там. И лицо – сплошное раскаяние. Могла бы быть проще! Сказать: «А, протез. И что? Разве это дает тебе право быть уродом?» Вот тогда бы я ее зауважал. Потому что нет, конечно же, не дает, и я это знаю. Меня просто бесит, как все реагируют. Как будто это их вина, поэтому со мной нужно особенно церемониться и вести себя так, словно я не просто трагичный калека, а вообще при смерти. Как будто всё – без этой проклятой ноги никакой жизни у меня больше не будет!

А я и сам это знаю, без них. И не надо мне об этом напоминать каждый раз! Я в закреплении материала не нуждаюсь.

* * *

– И почему Минск? – спросил я маму, пока мы ждали багаж. – Папа же вроде из Витебска.

– Из тех мест, да, – мама устало кивнула. – Но туда пришлось бы лететь с пересадками.

– Значит, все-таки Витебск? – уточнил я, хотя все и так было очевидно. Правильно, где еще хоронить человека, если не на родной земле. Папа сам так говорил. Не помню к чему, но что-то такое когда-то было.

– Наш чемодан, – так и не ответила на мой вопрос мама. –

Постой с близнецами.

– Сама постой, – я резко двинул в сторону багажной ленты. Мама, естественно, за мной, волоча за собой упирающихся близнецов.

– Не хочу цемадан! Я пать хоцю, – выл Ерёма.

– Не очу спась. Очу ушать ашу – подпевал ему Сёма.

Я схватил чемодан первым и стал тащить его изо всех сил. Тяжелый, гад. Весил, наверное, тонну!

– Отдай! – мама отпустила близнецов и вцепилась мне в руку.

– Не отдам, – пыхтел я упрямо. И мама тоже пыхтела.

Я вот представляю, как это выглядело со стороны – наше с мамой сражение! Пассажиры, проходившие мимо, косились на нас вовсю. Наверное, думали: «А, это же та чокнутая семейка из самолета!» Мы ведь когда приземлялись, близнецы такой ор устроили. Весь салон переполошили. Я решил их приструнить, пригрозив, что сейчас отдам вот той тете Лене. Не знаю, может, у них с этим именем тоже какие проблемы, но орать они меньше не стали. А Сёма еще и визжать начал.

А лысый дядька сказал:

– Сумасшедший дом какой-то!

Мама сразу завелась – я по лицу видел, но спорить не стала. Она просто сказала своим особенным голосом:

– А нам другого не надо!

Спокойно так. С расстановкой. У меня от этого ее голоса с раннего детства волосы дыбом встают. Это в сто, нет, в

миллиард раз страшнее любого крика. Правда, раньше она им нечасто пользовалась. В исключительных, можно сказать, случаях. А в последнее время зачастила. И теперь вот. Я тянул, и она тянула. И чеканила:

– Я кому говорю, отпусти. Надорвешься.

И тут случилось что-то неопишное. Я неловко повернулся и случайно ее толкнул. Не сильно, но мама от неожиданности ахнула и тут же выпустила ручку.

– Аккуратно, Ренат, – она вдруг зачем-то ухватилась за живот.

Я даже перепугался сначала. Подумал, может, у нее аппендицит, ну или еще какая ерунда. Типа острая желудочная болезнь, раз она так вскрикнула. А потом увидел ее лицо и как-то сразу все понял. Может, интуиция подсказала, не знаю. Что-то во всем этом было такое. Что-то ужасно знакомое – вот какое!

– Мама, – залепетал я испуганно. – Ты что...

– Прости, – она так густо покраснела, что губы на фоне багровых щек казались совсем белыми.

Потрясающе! Я тут же перестал мямлить и уставился на нее злыми глазами.

– Ренат, я... – мама смотрела умоляюще.

А я изучал узоры у нее на платье. Вот идиот. И ведь уже давно заметил, не сейчас. Этот ее косяк с одеждой. Она же сама по себе маленькая, стройная, а тут какие-то дикие кофты, юбки. Как на бегемота сшиты! Я думал, это Оксанины.

Ну, что мама просто чужую одежду носит, потому что ее вся сгорела. А тут вот что, оказывается.

– Понятно, – я наконец оторвался от платья и уставился куда-то в пол, чтобы не видеть ее лицо.

– Ренат, – мама потянулась в мою сторону. – Ну что ты?

Она явно вознамерилась меня обнять. Ха-ха, хорошенькое утешенье.

Я отступил назад, потом еще раз и только тогда уже, с расстояния, посмотрел ей в глаза:

– И кто отец?

– Ренат! – еще жарче вспыхнула мама. – Думай, что говоришь!

Я мстительно ухмыльнулся. Не знаю почему. Просто было такое чувство, как будто это она меня ударила.

– Просто уточняю, – голос у меня звучал спокойно, даже равнодушно, но внутри все жужжало и колошматилось, как будто я шмелей наглotalся.

– Знаешь, – мама со злостью выхватила у меня чемодан. – Иногда ты хуже близнецов!

И зашагала вперед, гордо волоча за собой нашу громадину.

Я взял близнецов за руки, и мы потащились следом. Сёма все ныл, так что у меня начало сводить зубы. Я сжал их крепко-крепко, пока не почувствовал боль. Стало чуть легче.

– Не ной, – велел я ему строго. – Скоро приедем.

Ага, знать бы еще куда. А еще зачем и почему. И еще мно-

го всего разного.

Пока мы проходили контроль, я, не отрываясь, сверлил глазами мамину спину. Ребенок. Еще один малыш. И как она его вообще рожать собирается? Без папы!

Горло у меня горело таким огнем, что глотать было больно.

«Теперь осталось только заболеть и умереть, – думал я с горечью. – А что, это идея! Папа умер, он горевать не станет. Мама вон скоро нового себе родит, здорового. А близнецам вообще все равно. Они же маленькие. День-два, глядишь, и забудут меня».

Я, наверное, еще никогда не был так близок к тому, чтобы взять и зареветь. Расплакаться от злости, или ярости, или просто от обиды, как какая-то девица сопливая. Но пока думал, каким чудом сдержаться, меня вдруг само по себе отпустило.

Мы наконец прошли контроль и вышли в огромный зал, гудящий от голосов, смеха и скрипа багажных тележек. Но даже через весь этот гам я сразу услышал окрик:

– Алёна!

Конечно, странно. Мало ли на свете Алён. Но я почему-то сразу закрутил головой, пытаюсь вычислить кричащего. Как будто понял, что эта «Алёна» – нам.

То есть маме. И точно! Она стала как вкопанная, грохнув чемоданом о землю. Застыла, как статуя, с большими такими, круглыми глазами.

Я проследил, куда она смотрит, и увидел человека, пробирающегося к нам через толпу.

Человека – это мягко сказано. Гиганта. Великана. Я не знаю, как еще... Он был нереально огромным. Высоченным и широким, как шкаф. Чистый Халк, короче.

Или просто Мальборо? Он и правда на него смахивал не передать как. Как будто удрал из американского вестерна. Джинсы, рубашка, шляпа какая-то. Я еле сдержался, чтобы не спросить у мамы, а где его колыт.

– Аим, – мама вдруг ожила и даже что-то пролепетала.

– Аким, – уже отчетливо выдохнула она и бросилась к нему со всех ног. Он поймал ее, кажется, на лету и подхватил. Я сразу напрягся, глядя, как они обнимаются.

Вообще-то на моем месте любой бы занервничал. Когда какой-то незнакомый мужик лезет обнимать твою маму – разве это не повод дать ему по носу?

Ну-ну, главное допрыгнуть.

И кстати, насчет незнакомого мужика я погорячился. Он был знакомым! Знакомым до жути, а я стоял и не мог понять, где и когда я его видел.

– Папа, – завопил вдруг Ерёма. – Папоцька!

Он уже кроме шуток готов был бежать, но я вовремя вцепился ему в куртку. Еще не хватало! Я, если честно, просто офигел. Чего только не передумал, пока хромал вместе с близнецами в их сторону. Мама. Какой-то левый мужик. Ерёма зовет его папой. Может, мне это всё снится?

Но потом я дохромал и понял. Еще до того, как мама успела что-нибудь объяснить. Я просто увидел его лицо. Широкое, загорелое, со знакомой продольной ямкой на правой щеке. Он внимательно смотрел на меня своими черными глазами. А я смотрел на него. Смотрел на своего папу.

* * *

Конечно, постаревшего. Но я все равно его узнал. Да и как я мог не узнать! Это было его лицо, такое родное, что у меня челюсть сдавило.

– Мама, – натужно позвал я. Может, даже про себя, раз она никак не отреагировала.

Мама стояла, уткнувшись лицом ему в рубашку, и вздрагивала. Плечами, спиной, вообще вся. Я не слышал ни звука, но видел, что она плачет. А он гладил ее по спине и приговаривал:

– Ты поплачь. Поплачь, девочка.

Голос был другой. Не папин. Такой же низкий, но с каким-то сипом внутри. Как будто он простуженный.

– Мама? – я затравленно топтался на месте, глядя, как вырвавшийся на свободу Ерёма ластится к его ногам.

– Ну-ка, посмотрим. Кто это у нас тут? – он осторожно отстранил маму и подхватил нашего подлизу на руки.

– Папа? – Ерёма вопросительно тыкал в него пальчиком.

– Не очу к папе, – Сёма же наоборот – подозрительно хму-

рил бровки. – Не мой папа!

Я и сам видел, что не мой. Но сходство было потрясающим!

– Ренат, – прошелестела заплаканная мама. – Познакомься, пожалуйста...

Я внутренне напряжился, готовый услышать все что угодно. Но только не то, что она сказала:

– Это твой дедушка.

– Здравствуй, сынок, – он протянул мне загорелую руку.

– З-з-здравствуйте, – я тарасился на нее, точно пленный немец. Потом сообразил, что стою, как бескультурный пень, и протянул свою.

Ладонь была теплой и шершавой на ощупь.

– Отставить выкать, – весело подмигнул мне дедушка. – Мы же свои люди.

Я очумело кивнул. Свои люди? Еще несколько минут назад я даже не подозревал о его существовании, а тут...

– Ну что, по коням, – он хлопнул меня по спине с такой силой, что я чуть легкие не выплюнул, и мотнул головой куда-то в сторону. – Выход там.

Главное, забрал у меня Сёму и пошел, насвистывая. Я думал, тот начнет орать, но нет. Сидел у этого ковбоя на руках, как гвоздь, все на Ерёму поглядывал. Проверял, видно, как тому сидится.

А я стоял и думал: «Что за бред он там нес? По каким коням?» – и крутил головой как ошалелый. Со мной такое

было впервые. Ну понятно, да, контузия. Но раньше я хоть как-то соображал. А тут всё – полный паралич.

– Мама? – заторможенным голосом позвал я. – А как я на лошадь-то? Ну, у меня же нога.

Я реально не мог доехать, что вообще происходит. Стоял, хлопал ртом, как идиотик.

Мама, судя по виду, тоже была слегка не в себе. Еще и улыбалась зачем-то. А ведь только рыдала. Странно, в общем.

– Мама, – я настойчиво дернул ее за рукав. – Ты меня слышишь?

– Что? А? – она вдруг часто-часто заморгала.

– Я говорю, что на лошадь эту дурацкую не сяду, – как мог терпеливо пояснил я. – Ни за что!

– Какую лошадь? – удивилась мама, все еще улыбаясь.

– Ну... этот же... как его там... дедушка! – я нервно оглянулся. – Он же сказал, мол, давайте по коням!

Мама прыснула. Я решил, что померещилось. А она опять, уже в ладони. А потом я смотрю, натурально хохочет! Чуть ли не сгибается.

– Мам, ты что? – я даже немного запаниковал. Может, у нее это нервное? Или вообще – из-за ребенка. Я читал, у многолетних такое бывает. Ну, типа расстройство личности.

– Алёна, – обернувшись, прогремел дедушка. – Давайте скорее, а то до темноты не доберемся.

«Нормально, да? – подумал я. – Не успел явиться, а уже

раскомандовался».

– Сынок, – пока я возмущался про себя, мама, наоборот, успокоилась. – Это выражение такое – по коням. А поедем мы, как обычные люди, – на машине.

– И то хлеб, – я издевательски закатил глаза, хотя на самом деле чуть со стыда не сторел из-за собственной тупости.

– Ренат, – мама положила мне руку на плечо. – Я тебя прошу – не злись. Вот увидишь – все будет хорошо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.